

ГЛАВА 6

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: МАРГИНАЛЫ У ВЛАСТИ

6.1. Диктатура масс или диктатура «нового класса»?

Европейское развитие нескольких последних столетий принесло небывалые возможности производства, потребления, организации общественной и частной жизни, борьбы со смертью, внутреннего развития личности. И очень многие из этих возможностей сделались доступными рядовому человеку, практически каждому. Все больше и больше людей освобождались от изнурительного физического труда, угрозы смертельного голода, страшной нищеты, полного беззакония, знакомились с неизвестным прежде бытовым комфортом, получали образование, добивались политических прав. Такая всесторонняя демократизация — главное завоевание XIX – XX веков, неотъемлемая и, может быть, самая существенная сторона модернизации. Но она же — один из главных источников ее трудностей и проблем, в том числе и политических.

В ходе модернизации повседневное существование массового человека приобретало черты социальной свободы, доступной ранее лишь представителям немногочисленной знати; во многих случаях теперь эта свобода была даже большей. Под напором перемен трещали основы средневековой социальной организации, их замена становилась неизбежной. Новые организационные принципы вырабатывались постепенно практикой нескольких европейских стран, хотя их утверждение даже в этих странах было долгим и трудным. Человек, еще не вылупившийся — или не до конца вылупившийся — из средневековой общинно-корпоративной оболочки, не способен воспринять и реализовать в своей деятельности принципы экономической и политической демократии, они часто кажутся ему чудовищными и нелепыми. Но и следовать прежним холистским принципам он уже не может. Это — «эпоха линянья», которую наблюдал в Европе середины XIX века Герцен: «новая шкура едва показывается, а старая окостенела, как у носорога — там трещина, тут трещина, но en gros она держится крепко и приросла глубоко. Это положение между двух шкур необычайно тяжело. Все сильное страдает, все слабое, выбивавшееся на поверхность, портится; процесс обновления неразрывно идет с процессом гниения, и который возьмет верх — неизвестно»¹.

В России-СССР непосредственным и совершенно естественным порождением «эпохи линянья» — и дореволюционной российской и, в особенности, послереволюционной советской — стал маргинальный, «полусоборный» человек. Он был весьма далек от того типа «сознательного рабочего», о котором постоянно упоминал Ленин и которо-

¹ Герцен А. И. Концы и начала. // Собр. соч. в 30 томах, т. 16, М., 1959, с. 172.

му неявно приписывались черты нового атомизированного европейского человека вперемешку с чертами «соборности», украшавшими образ идеального западного рабочего вторичными половыми признаками общинного коллективизма. Но именно этому незрелому, маргинальному человеку предстояло заполнить политическую сцену послереволюционной России, за кратчайшее время размножиться до большинства народа и сыграть бутафорскую роль носителя «диктатуры пролетариата».

В русской революции и диктатуре пролетариата можно усмотреть частный случай «перехода масс к неограниченной власти в обществе», о котором говорил Ортега-и-Гассет. «Подобные кризисы уже случались в истории... Имя их — восстание масс»². Этот кризис, — полагал он, — следствие появления нового человеческого типа, нового племени, «новой черни». «„Новые“ люди — это варвары, выскочившие на сцену истории и дерзко и неудержимо заполнившие все историческое пространство»³. «Двумя самыми наглядными примерами этой сущностной регрессии являются большевизм и фашизм, два порождения „новой“ политики, возникшие в Европе и на ее периферии»⁴. Особую роль бесструктурных масс в европейской политической истории XX века подчеркивала и Ханна Арендт. «Падение охранительных стен между классами превратило сонные большинства, стоящие за всеми партиями, в одну громадную, неорганизованную, бесструктурную массу озлобленных индивидов»⁵. Восстание масс «было результатом их атомизации, потери ими социального статуса и всего арсенала коммуникативных связей»⁶. «Главная черта человека массы — ... его изоляция и нехватка нормальных социальных взаимоотношений»⁷. «Для подъема нацистского движения в Германии и коммунистических движений в Европе после 1930 г. показательно, что они набирали своих членов из этой массы»⁸ и строили свою стратегию на абсолютной преданности «полностью изолированной человеческой особи, которая при отсутствии всяких других социальных привязанностей, ... черпает чувство прочности своего места в мире единственно из своей принадлежности к движению, из своего членства в партии»⁹.

Кто же эти безликие массы, вдруг ставшие большинством, откуда они взялись? Где были раньше? Почему именно сейчас пробил их час? Слова Х. Арендт о том, что «массы выросли из осколков чрезвычайно атомизированного общества»¹⁰, мало что могут объяснить в России, ибо российское общество как раз не было атомизированным, а потому и не могло произвести таких осколков. Да и в других европейских странах, в которых «восстание масс» привело к установлению тоталитарных режимов, общества были гораздо менее атомизированными, нежели в «западных демократиях», где все обошлось.

² Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. // Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. М., 1991, с. 40.

³ Там же, с. 114.

⁴ Там же, с. 119.

⁵ Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996, с. 419.

⁶ Там же, с. 465.

⁷ Там же, с. 422.

⁸ Там же, с. 414–415.

⁹ Там же, с. 430.

¹⁰ Там же, с. 422.

Дело, видимо, не столько в окончательной атомизированности, сколько в переходе к ней, переходе, который совершают вчерашние крестьяне, еще недавно бывшие большинством во всех европейских странах, а затем оторванные от корней, вытолкнутые из деревни в результате коренных перемен в европейской экономической жизни. И чем быстрее этот переход, тем больше опасность социальной промежуточности. Во всех европейских странах ускоренной модернизации, а в России — особенно, случилось то, чего опасался Глеб Успенский. «Оторвите крестьянина от земли, — писал, он — от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, — добейтесь, чтобы он забыл „крестьянство“, — и нет этого народа, нет народного мирозерцания, нет тепла, которое идет от него... Настает душевная пустота, „полная воля“, то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное „иди, куда хошь“...»¹¹. Рухнули сами основы жизнедеятельности большинства народа, а значит, и опирающийся на них социальный порядок. Время перехода к иному порядку, задаваемому городской жизнедеятельностью, — это время междуцарствия, когда миллионы «новых людей» рвутся к реальным, хотя пока еще плохо понимаемым ими соблазнам и ценностям новой, городской жизни, сметая все на своем пути.

Это и впрямь время *восстания* масс, но можно ли говорить об их *диктатуре*? Если такая диктатура — в форме кратковременной власти разбушевавшейся толпы — и промелькнула кое-где в XX веке, то лишь для того, чтобы подготовить почву для жестких тоталитарных режимов, железной рукой ставивших человека толпы на свое место. Очень скоро стало ясно, что массы появились на политической сцене ненадолго и лишь в роли статистов. Исторический спектакль без них не мог состояться, но не они определяли его ход. Истинное место масс в политических процессах нашего столетия не может быть понято, если не рассматривать одновременно функции и роль **новых элит** и смысл их *восстания* и их *диктатуры*.

Новые элиты — такое же неизбежное порождение исторических перемен, как и новый автономный человек. По мере того, как он превращается во все более массовый человеческий тип и меняется «молекулярный состав» общества, из среды «новых людей» выделяются наиболее активные носители их интересов, ценностей, принципов, они приобретают все большее влияние и постепенно теснят прежнюю элиту, издавна контролирующую экономическую, политическую и духовную жизнь общества. Разумеется, та не уходит со сцены без сопротивления. Борьба растягивается на несколько поколений, идет с переменным успехом, в каждой стране по-своему, оставляет после себя цепь компромиссов, временных союзов, порожденных ими мифологий и идеологий, формирует сложное переплетение партийных позиций. Это — не просто борьба за влияние и власть, которая бывает всегда. Речь идет об изменении самого типа элиты, принципов ее формирования, характера функционирования — все это должно соответствовать основам жизнедеятельности обновляющегося общества. Только в таком случае можно говорить о модернизации элиты как необходимой части общей модернизации.

В России свой вклад в формирование новой элиты и ее борьбу за влияние и власть внесли все три исторических слоя новых людей, и все они, в известном смысле, не без

¹¹ Успенский Г. И. Власть земли. // Собр. соч. в 9 томах, т. 5. М., 1956, с.116.

оснований рассматривали эту борьбу как революционную. Под их воздействием складывались все революционные настроения в России.

Первоначально они отражали интересы новых в культурном, экономическом или социальном смысле слоев, дворянских или околodворянских, квазибуржуазных. Старая российская элита XVIII века — это поместное дворянство вполне традиционного склада. Но, как мы видели, в первой половине XIX века именно в этой среде появились новые люди, сильно затронутые западными культурными влияниями и выработавшие агрессивнo-критическое отношение к традиционной российской действительности. Чаадаев или декабристы не преследовали никаких личных интересов, если не считать того, что им вдруг стало душно в застойном российском социальном климате. Но постепенно к этому, тоже немаловажному, соображению стали добавляться и другие, более прагматические. Россия все же развивалась, а это вело к значительному расширению элитарных статусов. Рядом с привычной дворянской верхушкой все чаще появлялись богатые и средние купцы и промышленники. Страна европеизировалась, и ей нужно было все больше грамотных администраторов и офицеров, инженеров и учителей, журналистов и университетских профессоров. Частично они рекрутировались из дворян, но одних дворянских детей уже не хватало, вверх поднималось все больше выходцев из духовного сословия, из мещан, иногда и из крестьян, складывался слой разночинцев, «пролетариев умственного труда». Для крестьянина или городского простолюдина в России XIX века каждый студент — «барин», да и сами студенты склонны были смотреть на себя как на бар. Конечно, это уже далеко не те баре, каких знала екатерининская эпоха. Но старые барские претензии еще живы были в памяти, психологически русские разночинцы XIX века — это замысловатая смесь дворянина и буржуа, их западнические, откровенно буржуазные симпатии и пристрастия спорят с их собственными «антибуржуазностью», неистребимыми аристократическими замашками и притязаниями.

Вместе с новыми статусами появляются и новые способы их достижения, растет вертикальная социальная мобильность, почти неизвестная старому сословному обществу. Расширение каналов вертикальной мобильности прямо связано с переменами, в которых заинтересована новая элита и которым противостоит старая, теряющая, по крайней мере, часть своих привилегий. Поэтому стремление к переменам, к обновлению, смысл которого часто плохо осознается или осознается лишь в отдельных его проявлениях, становится религией нарождающихся элитарных групп, практически всей интеллигенции, и она включается в более или менее активную борьбу против сложившегося порядка вещей и олицетворяющей его власти.

Пока сила — на стороне старой элиты, она довольно успешно блокирует перемены, вновь прибывающие разночинцы видят перед собой почти непреодолимую стену. Стремясь изменить неблагоприятное соотношение сил, они ищут союзника в «народе», то есть, по преимуществу, в крестьянстве. В этом — главный секрет «народолюбия» русской интеллигенции, идеализации ею крестьянина. Убежденность интеллигенции в том, что она служит исключительно «народу», могла быть вполне искренней, но мера искренности не есть мера истинности. Она может отражать лишь глубину иллюзий. Городские разночинные революционеры, даже и искренне убежденные в своей преданности

делу народа, всегда видели себя его поводырями и, как правило, не отдавали себе отчета в том, что интересы «народа» и их собственные могут не совпадать или совпадать лишь отчасти. Тем не менее неудовлеторенность своим положением делала их более зоркими и по отношению к положению крестьянства, и в самом деле часто бедственному. У них нарастало ощущение социальной несправедливости, оно смешивалось с нетерпеливым стремлением ускорить перемены, порождая культурный нигилизм, а то и фанатический политический экстремизм, оправдывающий любое насилие. Они стремились уравнивать силу действия с силой противодействия.

В России XIX века «революционер» — политический экстремист — становится типичной фигурой. Он искренне убежден, что борется с несправедливостью, как и в том, что в такой борьбе все средства хороши. Неразборчивость в средствах оправдывается неравенством сил. Одна из первых и наиболее известных деклараций революционаризма такого рода — «Катехизис революционера» С. Нечаева — окровенно стирает грань между политикой и уголовщиной. «Спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции, порядки и классы России... Наше дело — страстное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение... Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России»¹². Нечаев подчеркнуто отмежевывается от революции «по западному классическому образцу» из-за их «куважения перед собственностью и перед традициями общественных порядков»¹³. Возможно, благодаря Нечаеву, России принадлежит сомнительное первенство в открытом выражении настроений «типично русского революционного фанатизма, который, по сути, предвкушал и жаждал не изменения социальных и политических условий, а радикального разрушения всех существующих убеждений, ценностей и институтов». Когда позднее, уже в XX века настало время толпы в некоторых странах Европы, «толпа попросту воспользовалась возможностями этого нового настроения и реализовала краткосрочный союз революционеров и преступников, который... присутствовал во многих революционных сектах царской России, но до поры до времени не проявлялся заметно на европейской сцене»¹⁴.

Нечаев — одиозная фигура российского революционного иконостаса, впоследствии многие революционеры отрешивались от «нечаевщины», по крайней мере на словах, но далеко не всегда на деле. Представители самых разных революционных сил время от времени прибегали к террористическим актам или «экспроприациям», не видя в этом большого греха и вызывая сочувствие публики. Б. Кистяковский писал в «Вехах», что русское общественное сознание «никогда не выдвигало идеала правовой личности». Даже Герцен, — говорил он, — «видел некоторое наше преимущество в том, что у нас нет прочного правопорядка»¹⁵. «Только новая волна западничества, хлынувшая в начале девяностых годов вместе с марксизмом, начала немного прояснять правовое сознание русской интеллигенции... Но..., несмотря на школу марксизма, пройденную ею,

¹² Нечаев С. Катехизис революционера. Цит. по: Лурье Ф. М. Созидатель разрушения. СПб., 1994, с. 105.

¹³ Там же.

¹⁴ Арндт Х. Цит. соч., с. 447.

¹⁵ Кистяковский Б. В защиту права. // Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991, с. 115.

отношение ее к праву осталось прежним»¹⁶. Русский марксизм стал приспосабливаться к привычным «кнечаевским» революционным понятиям. Кистяковский говорит о «чудовищной» «идее господства силы и захватной власти вместо господства принципов права», выраженной в речи Плеханова еще в 1903 г. «Если бы в порыве революционного энтузиазма, — сказал тогда Плеханов, — народ выбрал очень хороший парламент..., то нам следовало бы стремиться сделать его долгим парламентом; а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели»¹⁷. Надо ли удивляться, что большевики так и поступили впоследствии с Учредительным собранием и что «революционное насилие» вообще заняло столь большое место в теории и практике большевизма, который пошел в этом отношении намного дальше меньшевика Плеханова? Сталин совершенно откровенно характеризовал свой идеал политической системы как «не ограниченное законом и опирающееся на насилие господство пролетариата над буржуазией, пользующееся сочувствием и поддержкой трудящихся и эксплуатируемых масс»¹⁸.

Романтические, точнее, аристократически-романтические надежды на то, что многомиллионная Россия станет послушно следовать за «тончайшим слоем» пришедших к власти революционеров, решающих, какой парламент сохранить, а какой — разогнать, были наивны. Россия не была послушной патриархально-крестьянской страной уже в конце прошлого века, а тем более не стала ею, когда вошла в полосу социальных потрясений первой половины нынешнего. Именно тогда незрелое, упрощенное политическое и правовое сознание большевиков на деле соединилось с неразвитым, стихийным сознанием деклассированных, растревоженных войнами и революциями полугородских-полудеревенских, крестьянско-солдатских масс, а утвердившийся благодаря этому соединению режим стал осваивать классические приемы на словах поносимого Лениным «бонапартизма»: «эквilibрировать, чтобы не упасть, — заигрывать, чтобы управлять, — подкупать, чтобы нравиться, — брататься с подонками общества, с прямыми ворами и жуликами, чтобы держаться не только на штыке»¹⁹. Это предопределило как временный успех «ленинской гвардии», так и ее последующую гибель.

Революционное обновление России открыло — и в этом был его главный смысл — новые каналы вертикальной социальной мобильности, притом впервые — для большинства. В них совершенно естественным образом устремился «народ», именем которого клялись несколько поколений русских полудворянских, полубуржуазных революционеров. Для них это оказалось полной неожиданностью.

Излюбленным образом сталинской эпохи был романтический образ Данко, ведущего за собою «народ» и освещающего дорогу поднятым над головой собственным сердцем. Возможно, именно так виделась русским революционерам их роль в надвигающихся на страну событиях в начале века. Но когда события наступили, общество не нуждалось ни в каких впереди идущих. Уже в первый год революции бушующие массы смели с политической арены представителей почти всех сложившихся в России революцион-

¹⁶ Там же, с. 120.

¹⁷ Там же, с. 122.

¹⁸ Сталин И. В. Об основах ленинизма. // Сочинения, т. 6, с. 114.

¹⁹ Ленин В. И. Об оценке текущего момента. // Полн. собр. сочинений, т. 17, с. 273–274.

ных течений. На какое-то время у власти задержались большевики, но ненадолго. «Ленинская гвардия... оказалась хрупким плотом на гребне вздымавшейся волны. Это была волна рвавшихся к власти и выгодным постам нахрапистых карьеристов и мещан (снова «мещане!» — А. В.), наскоро перекарсившихся в коммунистов... Каждого из них — и в отдельности, и дюжинами, и пачками — Ленин мог выгнать, арестовать, расстрелять. Но в целом они были неодолимы»²⁰. С конца 20-х годов, со времен «великого перелома», началось стремительное расширение маргинальных слоев и их конечная победа над «тончайшим слоем старой партийной гвардии»²¹ была предreshена простым количественным соотношением сил.

Уцелеть могли лишь те из «старой гвардии», кто переметнулся на сторону нового большинства. Это и предопределило выбор Сталина и всю его стратегию опоры на «массы» и на новую «маргинальную» элиту, которая его поддерживала и которая понимала и принимала только ограниченную «кинструментальную» модернизацию. Такая упрощенная и ускоренная модернизация отвечала историческому коллективному нетерпению, копившемуся в России с петровских времен, и одновременно банальному нетерпению миллионов, почувствовавших реальную возможность почти немедленных перемен в их сегодняшней, повседневной жизни. Говорить об их «нахрапистости» навивно. Они были не более нахрапистыми, чем народовольцы, бросающие бомбу в царя, или эсэры и большевики со своими «эксами», они были лишь куда более многочисленными и менее образованными. Можно ли винить их *за это*? Из их среды и вышла новая политическая элита, она понимала и отстаивала их интересы, имела в их лице надежную социальную базу. Только она ее и имела в СССР в то время. Ее-то и олицетворял Сталин. «Сталинские назначенцы были людьми Сталина. Но и он был их человеком. Они составляли социальную опору его диктатуры, но не из трогательной любви к диктатору-грузину: они рассчитывали, что он обеспечит их коллективную диктатуру в стране. Подобострастно выполняя приказы вождя, они деловито исходили из того, что эти приказы отдаются в их интересах... Он был ставленником своих ставленников и знал, что они неуклонно выполняют его волю, лишь пока он выполняет их волю»²². Вольно или невольно, Восленский воспроизводит здесь цитируемую Х. Арендт формулу Гитлера из его речи перед штурмовиками СА: «все, что вы есть, вы есть со мною; все что я есть, я есть только с вами»²³.

В главе 3 уже приводились данные о городском и сельском происхождении высшей коммунистической элиты СССР, которые давали ясное представление о том, что люди, стоявшие у руля «пролетарского государства», рекрутировались отнюдь не из главных мест сосредоточения пролетариата. Таблица 6.1. дополняет эту картину сведениями о

²⁰ Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 1991, с. 78–79.

²¹ Ленин В. И. Об условиях приема новых членов в партию. // Полн. собр. сочинений, т. 45, с. 20.

²² Восленский М. Цит. соч., с. 89–90.

²³ Арендт Х. Цит. соч., с. 432. Впрочем, все это было понятно и раньше. Еще Троцкий писал, что прежде, чем Сталин «нащупал свою дорогу, бюрократия нащупала его самого... Успех, который на него обрушился, был на первых порах неожиданностью для него самого. Это был дружный отклик нового правящего слоя, который стремился освободиться от старых принципов и от контроля масс и которому нужен был надежный третейский судья в его внутренних делах». (Троцкий Л. Преданная революция. М., 1991, с. 80).

Таблица 6.1. Социальное происхождение партийной элиты РКП(б), ВКП (б), КПСС (члены Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК), 1917–1989 гг.

	Год первого прихода на высший пост										
	1917- 1919	1920- 1929	1930- 1939	1940- 1949	1950- 1959	1960- 1969	1970- 1979	1980- 1989	1917- 1989	1917- 1929	1930- 1989
Всего, человек	18	46	15	14	34	23	11	32	193	64	129
в том числе:											
из рабочих	2	13	5	2	12	5	2	10	51	15	36
из крестьян	2	14	3	7	15	11	7	9	68	16	52
из ремесленников	2	3	2	-	3	-	-	-	10	5	5
из служащих	6	8	4	3	3	5	2	2	33	14	19
из дворян или священнослужителей	2	3	-	-	-	-	-	-	5	5	-
из прочих	3	4	1	-	-	-	-	-	8	7	1
нет сведений	1	1	-	2	1	2	-	11	18	2	16
Всего, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:											
из рабочих	11,1	28,3	33,3	14,3	35,3	21,7	18,2	31,3	26,4	23,4	27,9
из крестьян	11,1	30,4	20,0	50,0	44,1	47,8	63,6	28,1	35,2	25,0	40,3
из ремесленников	11,1	6,5	13,3	-	8,8	-	-	-	5,2	7,8	3,9
из служащих	33,3	17,4	26,7	21,4	8,8	21,7	18,2	6,3	17,1	21,9	14,7
из дворян или священнослужителей	11,1	6,5	-	-	-	-	-	-	2,6	7,8	-
из прочих	16,7	8,7	6,7	-	-	-	-	-	4,1	10,9	0,8
нет сведений	5,6	2,2	-	14,3	2,9	8,7	-	34,4	9,3	3,1	12,4

Источник: Рассчитано по: Чернев А. Д. 229 кремлевских вождей. М., 1996.

социальном происхождении партийных лидеров. В начальный период существования советского государства к его руководству пришло сравнительно много — около 30% — выходцев из «образованных» слоев, в самые первые годы — около 45%. Затем их приток стал сокращаться, главным поставщиком высших партийных кадров стали выходцы

из рабочих, а еще больше — из крестьян. С 1940 по 1980 г. выходцы из крестьян явно преобладали.

А какой была судьба первопроходцев, «ленинской гвардии»? На этот вопрос дает ответ, по крайней мере частичный, следующая таблица 6.2. Из 64 человек, пришедших на высшие партийные и государственные посты в 1917–1929 гг., во время революции, Гражданской войны и НЭПа, почти две трети (41 человек) погибли неестественной смертью, из них 36 человек (более 56%) были казнены по приговору суда как «враги народа» (в частности, люди из ближайшего окружения Ленина — Зиновьев, Каменев, Бухарин и др.), а в некоторых случаях убиты в тюрьме без всякого приговора (Сокольников), остальные покончили с собой (например, Орджоникидзе) или погибли при террористических актах, тоже организованных властями (самый известный пример — убийство Троцкого). Террор коснулся и некоторых высокопоставленных руководителей уже сталинского набора. В частности, из девяти, пришедших «наверх» с 1930 по 1935 г., выжил один Жданов. Но среди тех, кто поднялся к вершинам власти после 1937 г., жертвами репрессий стали единицы, некоторые из них были расстреляны уже в послесталинское время как виновники репрессий (Берия, Багиров).

То, что происходило на верхушке партийно-государственной пирамиды, было лишь отражением борьбы за власть между старой и новой элитами, развернувшейся на всех уровнях руководства. Х. Арендт полагала, что одно из самых важных «технических различий» между советским и нацистским режимами состояло в том, что «Сталин, смещая центр власти в рамках собственного движения с одного аппарата на другой, имел тенденцию ликвидировать аппарат вместе с его персоналом, тогда как Гитлер, при всех своих презрительных отзывах о людях, которые „не способны перепрыгнуть через собственную тень“, был готов продолжать использовать этих людей, пусть даже в другой функции»²⁴. Трудно согласиться с тем, что речь здесь идет только о «технических» различиях или о личных особенностях Сталина и Гитлера. Дело, скорее, в том, что в нацистской Германии не было проблемы смены *типа* элиты, ибо гитлеровский режим с самого начала отвечал интересам и вожделениям городских масс, промежуточных слоев населения, сложившихся ранее, в бисмарковскую и версальскую эпохи. В России же в 1917 г. этих слоев еще почти не было, понадобилось два десятилетия и — как это ни парадоксально — мощная поддержка «ленинской гвардии», чтобы они образовались, созрели и вступили в борьбу за власть с нею. Впрочем, об этом пишет и сама Х. Арендт. «Чтобы превратить революционную диктатуру Ленина в полностью тоталитарное правление, Сталину сперва надо было искусственно создать то атомизированное общество, которое для нацистов в Германии приготовили исторические события»²⁵.

Когда борьба за власть развернулась в полную силу, стало ясно, что вчерашние революционные властители не имели социальной опоры и не могли ничего противопоставить натиску своих исторических конкурентов. Очень скоро борьба приняла характер массовых и очень жестоких репрессий против ранней советской элиты, причем не только политической, но и связанной с нею экономической, культурной, научной и пр. Она была не просто отстранена от власти, но в значительной степени уничтожена физичес-

²⁴ Арендт Х. Цит. соч., с. 523–524.

²⁵ Там же, с. 423.

Таблица 6.2. Представители партийной элиты РКП(б), ВКП (б), КПСС (члены Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК), умершие естественной смертью

	<i>Год первого прихода на высший пост</i>										
	<i>1917- 1919</i>	<i>1920- 1929</i>	<i>1930- 1939</i>	<i>1940- 1949</i>	<i>1950- 1959</i>	<i>1960- 1969</i>	<i>1970- 1979</i>	<i>1980- 1989</i>	<i>1917- 1989</i>	<i>1917- 1929</i>	<i>1930- 1989</i>
Всего, человек	18	46	15	14	34	23	11	32	193	64	129
в т. ч. умерли неестественной смертью	10	31	8	2	1	-	-	-	53	41	12
из них:											
Казнены	9	27	7	2	1	-	-	-	46	36	10
Покончили с собой	-	3	1	-	-	-	-	1	5	3	2
Погибли при теракте	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Всего, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
в т.ч. умерли неестественной смертью	55,6	67,4	53,4	14,3	2,9	-	-	-	26,9	64,1	8,6
из них:											
Казнены	50,0	58,7	46,7	14,3	2,9	-	-	-	23,8	56,3	7,8
Покончили с собой	-	6,5	6,7	-	-	-	-	-	2,1	4,7	0,8
Погибли при теракте	5,6	2,2	-	-	-	-	-	-	1,0	3,1	-

Источник: Рассчитано по: Чернев А. Д. 229 кремлевских вождей.

ки. На разных уровнях власти осталось лишь небольшое число перебежчиков, которые должны были постоянно доказывать свою верность режиму, участвуя в его преступлениях, дрожа от страха и снося любые унижения. Так предательски смирились с арестом и отправкой в ГУЛАГ собственных жен высшие сановники режима Молотов, Калинин, Ворошилов, с вынужденным самоубийством своего брата — Каганович и т. д.

Именно новая советская элита, рожденная эпохой массового и — что очень важно — стремительного «линияния» общества, и стала на какое-то время надежной опорой политического режима, который она выдавала за «диктатуру пролетариата» и который издали мог казаться диктатурой масс. Этому способствовало и то, что представители правящей в СССР элиты и в самом деле часто были выходцами «из народа», как мы видели, по преимуществу из крестьян, но, бывало, и из рабочих. Когда М. Джилас в 50-е

годы назвал такую элиту новым господствующим классом, он шел против традиции, созданной критиками системы «изнутри». Еще Х. Раковский, одним из первых заговоривший вслух о «перерождении партийных кадров» в СССР вследствие функционального расслоения пришедшего к власти пролетариата и превращения некоторой его части «в агентов самой власти», с осторожностью выбирал выражения. «В пролетарском государстве, где капиталистическое накопление не позволено для членов правящей партии, — писал он, — упомянутая дифференциация является сначала функциональной, но потом превращается в социальную. Я не говорю — классовую, а социальную»²⁶. Позднее Троцкий, очень резко критиковавший сталинский режим, утверждал тем не менее, что «в СССР нет имущих классов в собственном смысле слова», а есть «очень привилегированный командующий слой, который присваивает себе львиную долю в области потребления»²⁷. Он предпочитал говорить не о классе (применительно к СССР это не вписывалось в теорию, которой он оставался верен), а лишь о слое «бюрократии», хотя по его же оценкам речь шла о 12–15% населения страны²⁸.

Джилас же (а он тоже был критиком «изнутри» в силу как своего идейного воспитания, так и принадлежности к правящей верхушке социалистической Югославии) писал о **новом классе**. Дореволюционный русский капитализм, полагал он в частности, «был слишком слаб..., чтобы совершить промышленную революцию. На такое мог пойти только новый класс... Этого класса еще не было. Истории безразлично, кто поведет процесс, важно сделать необходимое... Так произошло и в России... Революция создала силы: нужных ей производителей, нужные организации и идеи. Новый класс произрастал из объективных условий — волей, мыслью и поступком его вождей»²⁹. Так как он утвердился у власти, опираясь, в первую очередь, на политические, а не на экономические рычаги, и это произошло в слабо структурированном обществе, его власть оказалась особенно деспотичной, а советский период стал временем редкостного для страны такого уровня развития безвластия и бесправия масс, их обмана и эксплуатации. Случайности в этом не было. Утверждение в России того, что впоследствии получило название «тоталитаризма», было подготовлено всей прошлой историей и запрограммировано на сто лет вперед, хорошо, если не на больше.

6.2. Тоталитарные идеологии

Известные слова Б. Пастернака о Ленине: «он управлял движением мысли и только потому — страной» — очень точно указывают на важнейшую предпосылку становления и сохранения тоталитаризма, а именно на власть идеологии, идеократию. Крушение соборного мира многомиллионного крестьянства было одновременно и крушением привычных богов, обесценением устоявшихся идей, мифов, ценностей. Образовавшийся вакуум требовал заполнения, которое могло быть новым по содержа-

²⁶ Раковский Х. Письмо о причинах перерождения партии и государственного аппарата. // «Преданная революция» сегодня. Приложение к книге Л. Троцкого «Преданная революция». М., 1992, с. 48.

²⁷ Троцкий Л. Преданная революция, с. 19.

²⁸ Там же, с. 117.

²⁹ Джилас М. Новый класс. // Джилас М. Лицо тоталитаризма. М., 1992, с. 201.

нию, но не по форме. Синкретическое сознание людей не могло измениться с сегодня на завтра, новые идеологемы, чтобы быть воспринятыми, тоже должны были быть синкретическими, адресоваться одновременно и к рассудку, и к чувству, и к вере. Их надлежало сделать монолитными, простыми, понятными, иными словами, свести к короткому, не подлежащему обсуждению лозунгу. Но такая форма, в свою очередь, давит на содержание, ибо не всякое содержание свертывается в лозунг и, следовательно, может быть воспринято соборным или полусоборным сознанием. Поэтому и новизна содержания может быть только относительной. Можно заменить идею царя идеей президента или генерального секретаря, но в конкретном восприятии того, кто вчера еще жил идеей царя, новым будет только название.

Пройдя через революционные и военные потрясения начала века, соборный крестьянин, а затем только что народившийся, полусоборный, полуавтономный Homo soveticus в его массовом варианте оказались в кругу совершенно новых представлений и идей и стали фильтром, который ежедневно и ежечасно отсеивал те из них, что по форме либо по содержанию не соответствовали разрешающей способности все еще синкретического, по преимуществу, сознания. Отфильтрованные таким образом представления и идеи сложились в официальную идеологию, и она на какое-то время зажила жизнью новой абсолютной религии — тоже в полном согласии со свойствами синкретического миропонимания. Разумеется, там, где есть официальная религия, там всегда есть и ересь. Чрезмерно жесткая советская идеологическая схема постоянно рождала диссидентствующих оппонентов. Но еретические контридеологии, как правило, рождаются и живут по тем же законам, что и официальная, и так же точно отражают состояние общественного и индивидуального сознания. Они борются за владение теми же самыми умами.

В конце 1960-х годов А. Амальрик составил схему основных характерных для тогдашнего СССР идеологических течений, которой позднее — в середине 70-х годов — он придал более ясный и законченный вид. Схема представляет собой «колесо идеологий», основу которого образуют три главные «суперидеологии», три типа социальной философии, которые Амальрик обозначил как «марксизм», «национализм» и «либерализм». «Суперидеологии не отделены одна от другой непроходимыми преградами, в какой-то степени даже переходят одна в другую»³⁰ — потому и «колесо».

При всем многообразии постоянно менявшихся политико-идеологических позиций, столетние российские споры были «двухполюсными», это была борьба старого и нового, принимавшая форму противостояния своего и чужого. Схема же Амальрика — трехполюсная. Откуда взялся третий полюс? Дело, по-видимому, в том, что даже и «суперидеологии» — еще не самый верхний уровень описанной Амальриком структуры. Есть еще некий «метауровень», и он действительно знает только два полюса: либерализм и тоталитаризм, а уже внутри тоталитаризма можно различить две разные, но внутренне глубоко родственные суперидеологии, которые Амальрик и обозначил как марксизм и национализм. Это родство подчеркивал и сам Амальрик, когда утверждал, что в СССР в кризисных ситуациях всегда «больше шансов на выживание и победу будет у тех, кто

³⁰ Амальрик А. Идеология в советском обществе. // Погружение в трясины. М., 1991, с. 678.

будет руководствоваться идеологиями тоталитарными, а не плюралистическими, до-морозенно-восточными, а не чужеродно-западными и чисто политическими, а не этико-политическими»³¹. В постсталинском СССР этим условия, согласно Амальрику, больше всего отвечал «неосталинский национализм» — «своеобразный национал-большевизм» — «под знаменем марксизма», с одной стороны, и «пусть осенит нас знамя Суворова» — с другой, тянущийся в сторону все большего русского национализма с осовремененными старомосковскими идеями сильной «отеческой» власти»³².

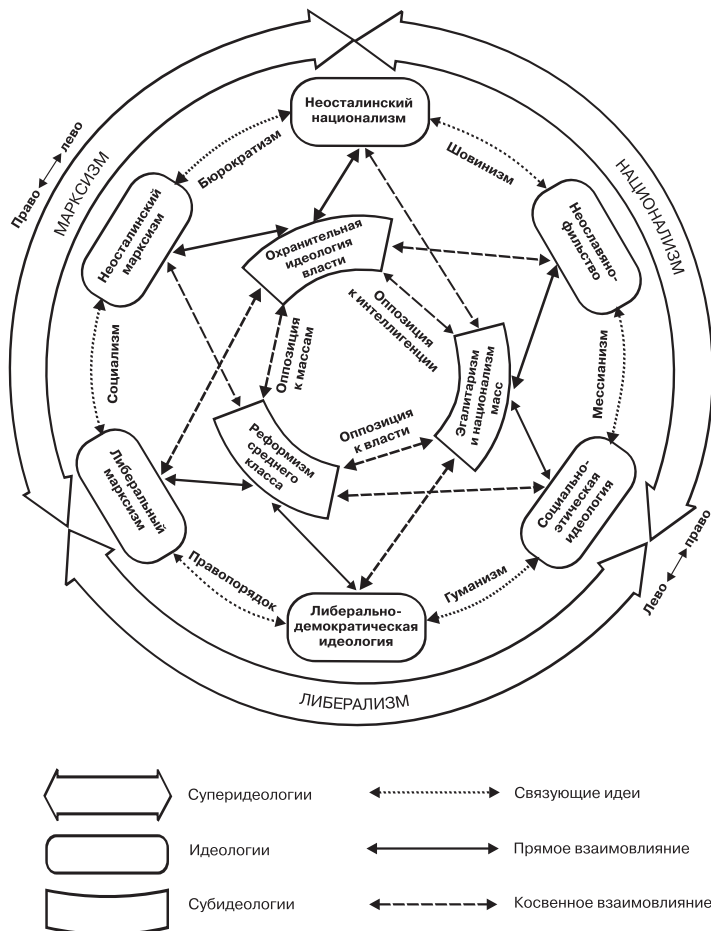


Рисунок 6.1. «Колесо идеологий» А. Амальрика

Источник: Амальрик А. *Идеология в советском обществе*, с. 678.

³¹ Там же, с. 682.

³² Там же, с. 678–679.

Либерализм как «суперидеология» в смысле Амальрика — это совокупность идей, отстаивающих принципы, формально провозглашенные во Франции в 1789 г. в Декларации прав человека и гражданина, но вырабатывавшиеся и углублявшиеся не одним поколением социальных мыслителей в странах более раннего капитализма — Голландии, Англии, Франции, Швейцарии и до и после Французской революции, а в XIX веке проверенные практикой этих и некоторых других стран, в частности, США. Таковы идеи политического плюрализма, гражданских прав и свобод, парламентской демократии и разделения властей, минимально необходимого вмешательства (но не невмешательства) государства в экономику и публичную жизнь, разделения государства и церкви и т. п. Логика либерализма — это логика сложной социальной системы с очень развитой и разнообразной внутренней средой, а потому и с высокой способностью к самоорганизации.

Если бы черепаха могла думать, то она безусловно пришла бы к выводу, что человек — существо, намного более беспомощное, чем она, ибо ему не на что опереть свое тело: у него нет внешнего каркаса. Идея позвоночника, служащего внутренней опорой, пожалуй, показалась бы ей странной, и она ни за что не отказалась бы от своего стеснительного, но надежного панциря в обмен на большую свободу жизнедеятельности позвоночных. Примерно такого рода рассуждения лежат в основе неприятия либерализма и массовым, и элитарным сознанием во всех странах ускоренного перехода от простого сельского к более сложному городскому обществу. Все тоталитарные идеологии питает и роднит прежде всего активное, агрессивное противостояние либеральным принципам.

После Первой мировой войны кризис охватил всю Европу и, по странному искривлению зрения, очень часто воспринимался как кризис западного либерализма и индивидуализма. Между тем наибольшей глубины кризис достиг в странах более позднего капитализма, таких как Германия, Италия или Россия, где ни то, ни другое не было развито, но быстро развивалось. Здесь с наибольшей силой проявился эффект человека-массы и обозначилось сильнейшее противостояние либеральным идеям. Ибо, как заметил Ортега-и-Гассет, либерализм «означает мирное сосуществование с противником, более того, он означает сосуществование со слабым противником... Масса... отвергает сосуществование с кем-либо, кроме нее самой, — ее питает смертельная ненависть ко всем, кто к ней не принадлежит»³³.

Предреволюционная Россия развивалась по западному, капиталистическому пути, во многих отношениях это развитие было быстрым, успешным, укрепляло позиции прозападных либералов, их веру в возможности социальной самоорганизации, во власть денег, силу рынка, экономические принципы *Laissez faire*, ценности многопартийной демократии, одним словом, в нецентралистское общество, которое строится «снизу», от основания к вершине. Но такое развитие разрушало и ввергало в кризис традиционное социальное устройство, что неизбежно порождало внутреннее напряжение, конфликты, недовольство. Все это служило неплохим топливом для двигателей политического экстремизма, сочетавшего резкость социальной критики, часто оправданной, с несбыточными посулами.

³³ Там же, с. 103.

Пока революционная активность в России оставалась делом по преимуществу интеллигенции, экстремистские политические течения сосуществовали с более умеренными, либеральными и в целом значительно уступали им по популярности. Когда же в революцию пошел «народ», либеральные надежды стали вызывать все большие сомнения. События революции 1917 г., Гражданской войны, а затем и неудачная попытка сдвинуть Россию на либеральный путь во времена НЭПа окончательно вскрыли незрелость отечественного либерализма и его непригодность для России того времени, невосприимчивость тогдашнего большинства населения к рациональным доводам либеральной идеологии, а потому и утопичность российского либерального проекта начала XX века. Может быть, позвоночник и лучше внешнего панциря, но тогда внутренний хребет российского общества был еще слишком хрупким.

В результате либерализм надолго исчез с советской идеологической сцены, что, впрочем, не означало утраты им своего значения одного из полюсов советского идеологического универсума. Более того, здесь, как и в фашистской Италии или нацистской Германии, он приобрел некий высший метафизический смысл полюса абсолютного зла — объекта явного всеобщего презрения и источника тайных дьявольских искушений. Согласно Большой Советской Энциклопедии сталинских времен, либерализм «в широком смысле» был «синонимом примиренчества, терпимости к вредным, отрицательным явлениям и действиям, наносящим ущерб интересам государства, народа»³⁴. (В статье Муссолини «Фашизм», написанной для итальянской энциклопедии, говорилось, что свойственные либерализму «агностицизм в области экономики..., равнодушие в области политики и морали ведут... к несомненному разрушению государств»³⁵.)

Но коль скоро либеральный, «западнический», нецентралистский проект был отклонен жизнью, ему мог противостоять только проект централистского общества, которое строится «сверху» — от вершины к основанию. Теоретически он мог иметь многообразные варианты, на деле же опыт XX века указывает на две главные оси, вокруг которых группируются основные централистские проекты и соответствующие им идеологии, — они и обозначены в схеме Амальрика как марксизм и национализм. Различие заключается не в целях, а в средствах, в способах мобилизации социальных сил в нестабильном, переходном, модернизирующемся обществе. Не имея возможности осуществления глубинно революционного либерального проекта, стремящееся к модернизации советское общество вынуждено было довольствоваться поверхностно революционным, консервативно-революционным суррогатом. В этом — предел истинности всех тоталитарных, консервативно-революционных идеологий, их реализма.

Марксизм и национализм в схеме Амальрика — две разновидности таких идеологий. Их объединяет ставка на привычные, традиционные авторитарные методы мобилизации социальной энергии — жесткую вертикальную организацию общества в сочетании с доведенной до фанатизма верой. Разница же заключается в том, *во что* вера, а еще точнее, — вера **в какого врага**. Революционная вера — это всегда канализованное и определенным образом направленное недовольство масс, неизбежно обостряющееся при любом общественном кризисе. Когда речь идет о крупных системных кризи-

³⁴ БСЭ, 2-е издание. Т. 25. М., 1954, с. 73.

³⁵ Mussolini. Le fascisme. Doctrine, institutions. Paris, 1933, p. 48.

сах, существует множество линий разлома — источников напряжений и недовольства, а значит, и множество каналов, по которым это недовольство может быть направлено. Наличие одних трактовок не исключает других, все они обычно присутствуют в общественном сознании, конкурируют друг с другом, используются политическими силами в борьбе за влияние на массы.

Более или менее ясно, что, если говорить о марксизме как официальной советской идеологии, то речь идет не о марксистском учении в полном его объеме, а лишь о маске, по ряду причин удобной и для сторонников, и для противников этой идеологии. Судьба марксизма в России, как, впрочем, и в других странах, подтверждает слова самих Маркса и Энгельса о судьбе всякого рода коммунистических систем будущего, которые появлялись «в начале коммунистического движения». Они приводили пример «правоверных фурьеристов..., которые при всем своем правоверии являются прямыми антиподами Фурье», ибо «кистинное содержание всех составивших эпоху систем образуют потребности времени, в которое они возникли. В основе каждой из них лежит все предшествующее развитие нации»³⁶.

По уже упоминавшимся причинам, возникший на немецкой почве марксизм предлагал ответы на вопросы, неизменно мучавшие и русских. Россия приняла его в полном смысле слова с распростертыми объятиями. «Марксизм в 90-е годы был пережит у нас как мировоззрение, как философская система. Тогдашний спор „марксистов“ и „народников“ был столкновением двух философских теорий, двух мировоззрительных стилей. Это было восстание новой метафизики против засилия морализма... Важна не догма марксизма, а его проблематика... Марксизм... был практически возвращением к онтологии, к действительности, к „бытию“... В марксизме были крипто-религиозные мотивы. Утопическое мессианство, прежде всего, и затем чувство общественной солидарности. И можно сказать, что именно марксизм повлиял на поворот религиозных исканий у нас в сторону Православия (замечание Г. П. Федотова). Из марксизма вышли Булгаков, Бердяев, Франк, Струве... Все это были симптомы какого-то сдвига в глубинах»³⁷.

Цитированные слова Флоровского показывают, насколько широкой могла быть аудитория марксизма в России. Он везде воспринимался как новое слово и, вероятно, и был таким новым словом, отвечавшим настроениям эпохи и находившим отзвук в самой разной интеллектуальной и политической среде. И, конечно, в первую очередь, он был отправной точкой не для поворота к Православию. Из марксизма вышли революционные партии России, в том числе и большевики, с энтузиазмом воспринявшие его антифеодальный, «прогрессистский» пафос. Отсюда — высокая оценка «исторической миссии капитализма» и принесенных им социальных перемен, свойственная Ленину дореволюционной поры. Критика всего средневекового строя русской жизни была вполне естественна в пору борьбы с самодержавием. Но позднее, выбирая свою политическую стратегию, большевики вынуждены были все больше учитывать и «потребности времени», и «предшествующее развитие нации», тогда им пригодились и «крипто-религиозные мотивы» марксизма. Как писал Бердяев, «большевизм гораздо более традиционен,

³⁶ Маркс К., Энгельс Ф. *Немецкая идеология*. // Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения*, М., 1955, т. 3, с. 463–464.

³⁷ Флоровский Г. *Пути русского богословия*, Париж. 1937 (Вильнюс 1991), с. 453–454.

чем это принято думать, он согласен со своеобразием русского исторического процесса. Произошла русификация и ориентализация марксизма»³⁸.

В СССР такой русифицированный марксизм превратился в официальную идеологию-религию. Он отождествлялся, в первую очередь, с «социализмом» и антикапитализмом, тогда как его связь с другими, «западными» чертами классического марксизма была резко ослаблена, сохранялась и вспоминалась лишь в той мере, в какой это оправдывалось прагматическими нуждами режима. Согласно Ленину, марксистом мог считаться только тот, «кто *распространяет* признание борьбы классов до признания *диктатуры пролетариата*»³⁹. В период перехода от капитализма к коммунизму, писал Ленин, государство должно быть «по новому демократическим (для пролетариев и неимущих вообще) и по-новому диктаторским (против буржуазии)»⁴⁰. Эта формула давала ответ на кардинальный вопрос марксистской веры: в какого врага верить? Верить надлежало в классового врага: с ним надо было бороться, против него надо было объединяться, его надо было постоянно искоренять. В этом — особенность мобилизационной схемы марксизма, в отличие от национализма, который развивает свой мобилизационный потенциал, объединяя силы против *другого врага*.

В крайнем, сталинском варианте диктатуры «пролетариев и неимущих вообще» — с точки зрения чистоты классового анализа, определение довольно расплывчатое, но удобное в стране, где почти нет пролетариата, — «марксистским» считалось все, что оправдывало политический тоталитаризм, милитаризм, однопартийную политическую систему и т. д.

Отличительной чертой марксизма обычно считается интернационализм, что и в самом деле соответствует логике *классовой борьбы*. Казалось, что приход к власти в послереволюционной России марксистской партии означал сокрушительное поражение русского и всех остальных российских национализмов. Это во многом соответствовало либеральным воззрениям эпохи, исходившим из представлений об исчерпанности потенциала национализма. П. Милюков, например, полагал в начале века, что Россия вступила в «критический» период своей истории, когда «эпоха самовозвеличения сменяется эпохой самокритики»⁴¹ и на смену «национальному» приходит «общественное» (сегодня мы сказали бы «гражданское» — А. В.) самосознание. Милюков отчетливо видел конфликт между сторонниками «самовозвеличения» и «самокритики», но ему казалось, что в «новейший период нашей истории» в этом конфликте наступил решающий перелом. «Старые национальные идеалы уступили место в общественном мнении новым, которые подвергались упреку в „космополитизме“ со стороны „патриотов“ доброго старого времени. Число последних стало быстро уменьшаться»⁴².

На самом деле, до решающего перелома было еще далеко. Объективные причины возбуждения национальных чувств не только не исчезли, но, напротив, приобрели еще большее значение, ибо ускоренная модернизация, обостряя исторический спор внутри

³⁸ Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990, с. 89.

³⁹ Ленин В. И. Государство и революция. // Полн. собр. сочинений, т. 33, с. 34.

⁴⁰ Там же, с. 35.

⁴¹ Милюков П. Очерки по истории русской культуры. М., 1992, с. 150.

⁴² Там же.

общества и его культуры, очень сильно затрагивает и национальные чувства. Среди множества возможных позиций в этом споре неизбежны и такие, которые дают порождаемым модернизацией проблемам этническое, этнокультурное или этноконфессиональное толкование. Стоит такому толкованию появиться, как критика старины начинает восприниматься как неуважение к национальным или религиозным святыням, как оскорбление национальных чувств, которые становятся очень обостренными. А уж очень легкая в подобных условиях игра на этих чувствах в политических целях и порождает национализм — одно из самых мощных средств мобилизации социальных сил в напряженной, неустойчивой социальной обстановке. В противовес образу классового врага выдвигается не менее злобещий, но более удобный для определенных социальных слоев образ этнического (расового, этнокультурного, этнорелигиозного и т. п. — в зависимости от обстоятельств) врага. Это превращает национализм в альтернативу марксизму, в его конкурента в борьбе за влияние на массы.

В 20-е годы, когда победившие в России «красные» дорабатывали свой план мобилизации социальной энергии, основанный на постоянном возбуждении и обострении «классовой борьбы», побежденные и оказавшиеся в эмиграции «белые» разрабатывали свои альтернативы развития, которые если и отличались от большевистских, то лишь тем, что делали ставку не на классовые, а на этноконфессиональные чувства. «Коммунистической идеологии противопоставляется принципиально иная — сознательно религиозная, православная и не отвлеченно-интернациональная, а евразийско-русская»⁴³, — писали евразийцы, вызываяще подчеркивая, что «православие не одно из многих равноценных христианских исповеданий», а «единственное по своей полноте и непорочности исповедание христианства. Вне его все — или язычество, или ересь, или раскол»⁴⁴.

Таким образом, модернизирующееся российское общество разрабатывало оба главных направления мобилизационной идеологии. Правда, долгое время русский этноконфессиональный «патриотизм» явно проигрывал марксистскому «интернационализму» (в обоих случаях кавычки абсолютно необходимы). Нельзя сказать, что между ними не существовало никакого диалога: порой они дружелюбно переглядывались, не было недостатка и во взаимном довольно интенсивном обмене идеями, многие разграничительные линии давно стерлись. Но равенства, конечно, не было. «Интернационализм» захватил центральное место единственного официального правоверия, тогда как «патриотизм» довольствовался участью пусть и терпимой (а нередко и преследуемой), но периферийной ереси, был уделом политических и идеологических диссидентов. Кризис советского тоталитаризма в 80-е – 90-е годы подорвал положение и его официальной идеологии, что, естественно, способствовало подъему ее «патриотического» конкурента. Идеологическое поле стало все больше заполняться старыми, хотя и мало известными в СССР, а потому казавшимися оригинальными националистическими клише, созданными еще в 20-е годы. Вначале их освоение было уделом некоторых диссидентских движений, которым приходилось оглядываться на официальные власти, опасаться преследований, прибегать к эзопову языку и пр. С конца 80-х годов все эти препоны отпа-

⁴³ Евразийство. Опыт систематического изложения. // Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М., 1992, с. 361.

⁴⁴ Там же, с. 362.

ли, пропаганда «патриотических» идеалов резко усилилась, и они стали усваиваться многими недавними «интернационалистами»-марксистами, демонстрирующими либо свою внутреннюю симпатию к тоталитаризму в любой форме, либо попросту свою беспринципность, беспредельность своего чисто советского конформизма.

По общему правилу, русские «патриоты» демонстрируют враждебность тоталитарному «коммунистическому» режиму, но отнюдь не с анти тоталитарных, либеральных позиций. По-прежнему либерализм для них — еще больший враг, так что национализм выступает не только, а может быть даже и не столько, в своем прямом качестве, сколько в виде понятной «народу» упаковки антилиберального натиска. В последнее время все более определенно обрисовываются два основных идейных источника «патриотических» программ (впрочем, их можно толковать и как один общий источник). С одной стороны, активно осваивается уже упоминавшееся наследие «евразийцев», еще в 20-е – 30-е годы искавших идеологического компромисса с большевиками на основе общего подхода к пониманию российской государственности. Главные привлекающие «патриотов» элементы «евразийства» — утверждение культурной и геополитической целостности и уникальности «России-Евразии», ее непохожести на «Запад» и противостояния ему, особого мессианского призвания России в мире, ее ответственности за имперское единство Евразии. Но, конечно, не лишено привлекательности и особое «государственничество» евразийцев (идеи партии-государства, государственной идеологии и пр.), легко вписывающееся в логику любой тоталитарной системы.

С другой же стороны, в воздухе снова носятся полузабытые мотивы российско-германской антизападной переключки, причем пронемецкие симпатии русских «патриотов» буквально не знают границ, хотя «на дне» поиска в Германии русских национальных идеалов лежат все те же маниакальные тоска по аристократизму, «антибуржуазность», антилиберализм и все, что с этим связано. Вот лишь одна небольшая иллюстрация подобной логики, может быть, несколько крайняя, но зато раскрывающая сразу многие карты. «В национал-социализме Гитлера было много отступлений от консервативно-революционной ортодоксии», — пишет современный *патриотический* автор, — но «в рамках национал-социалистического режима существовал некоторый интеллектуальный оазис, в котором концепции консервативной революции продолжали развиваться и исследоваться без каких-либо искажений, неизбежных в других более массовых проявлениях режима. Мы имеем в виду организацию Ваффен-СС... СС воспроизводило определенные стороны средневекового духовного рыцарского Ордена с типичными идеалами преодоления плоти, нестяжательства, дисциплины, медитативной практики. Естественно, такой подход в экономической сфере предполагал категорическое отрицание всех сугубо капиталистических основ социального устройства — гедонизм, плутократию, финансовый либерализм, свободный рынок, процентную систему и т. д.»⁴⁵.

«Неискаженная» концепции консервативной революции эсэсовского образца, рассматривается, судя по всему, как наиболее подходящая для будущей России. При

⁴⁵ Дугин А. Консервативная революция. М., 1994, с. 24–25.

этом отмечается, что «в самом русском большевизме... легко можно обнаружить многие... мотивы, имеющие прямое отношение к «консервативной революции» (в частности, все то, что можно называть русским «национал-большевизмом» — от сменовеховцев до сегодняшних нео-сталинистов)»⁴⁶. Но мысль о том, что «консервативно-революционных мотивов» не были чужды и старо-сталинисты, и сам Сталин, тщательно обходится. Признается, что «наиболее полным и тотальным воплощением... Третьего пути был германский «национал-социализм»⁴⁷, но остается неясным, не был ли этот путь, более или менее полно, воплощен и в отечественных пределах. Одним словом, остается открытым довольно существенный вопрос: так ли велико отличие того, к чему призывают Россию некоторые «патриоты», от того, что в ней недавно было? А об этом стоит немного поговорить.

6.3. Социалистическое средневековье

Первая половина XX века во многих странах Европы стала временем встречи пробудившихся политических инстинктов маргинализованных «масс» и созревших к этому времени тоталитарных идеологий. Их политическая ангажированность и антилиберальная направленность были созвучны настроениям масс, и поэтому именно такие идеологии зачастую направляли поиски причин европейского коллапса и путей его преодоления. В результате выход из кризиса связывали не с ускоренным развитием экономической и политической демократии, основанной на либеральных и индивидуалистских ценностях, а с возвратом к старым холистским устоям. Отсюда — уже упоминавшиеся симпатии к заветам средневековья, стремление к реабилитации его принципов и даже вера в его скорое возвращение. «Современный либерализм, — утверждал Меллер ван ден Брук в „Третьем Рейхе“, — начинается там, где индивид извлекается от средневековых уз... Но либеральная мысль здесь, как и везде, — это иллюзия, ибо средневековые узы были приобретением... Средневековые узы были могучим основанием могучей деятельности»⁴⁸.

В общем европейском хоре слышны и русские голоса. «Грандиозное предприятие новой истории нужно ликвидировать, оно не удалось, — писал в 1923 г. Бердяев. — Новое средневековье преодолеет атомизм новой истории. Этот атомизм преодолевается или ложно — коммунизмом, или истинно — Церковью, соборностью»⁴⁹. Такая позиция накладывает отпечаток на довольно противоречивую оценку Бердяевым — и не только им — событий, происходящих в СССР. Чтобы понять их, говорит он, нужно «перейти от астрономии новой истории к астрологии средневековья». «О русском коммунизме совсем нельзя мыслить в категориях новой истории, применять к нему категории свободы или равенства в духе французской революции, категории гуманистического мировоззрения, категории демократии и даже гуманистического социализма... Россия никогда не выходила окончательно из средневековья, из сакральной эпохи, и она как-то почти непосредственно перешла от остат-

⁴⁶ Там же, с. 14.

⁴⁷ Там же.

⁴⁸ Moeller van den Bruck A. Le Troisième Reich. Paris, 1933, p. 138.

⁴⁹ Бердяев Н. Новое средневековье. М., 1991, с. 20, 27.

ков старого средневековья, от старой теократии, к новому средневековью, к новой сатанократии»⁵⁰.

В словах Бердяева звучит не только осуждение русского коммунизма, но и готовность его «понять». На примере Бердяева времен «Нового средневековья», а еще больше на примере сменовеховцев и евразийцев, видно, что критика «новой сатанократии» даже представителями враждебной большевикам эмигрантской оппозиции подчас отвергала далеко не все стороны накатывавшегося на СССР средневековья. Она нередко выражала прямое сочувствие ему, оправдывала и общим кризисом «новой истории», и историческими особенностями России. Антилиберальные мотивы в такой критике часто звучали намного сильнее антитоталитарных. «Антигуманистические выводы, которые сделал из гуманизма коммунизм, стоят на уровне нашей эпохи и связаны с ее движением», — утверждал Бердяев⁵¹. При всей напряженности первой половины 20-х годов, они были все же чем-то вроде *belle époque* советской истории. Новый режим еще не оформился окончательно и не проявил себя в полной мере, внутри страны и в эмиграции были сильны надежды, что трудности, порожденные войнами и революциями, минуют, и Россия-СССР вот-вот укажет миру новый путь, свободный от пороков, свойственных прогнившему и погибающему Западу. В 20-е годы, в частности, открылась новая страница российско-немецкого диалога, немцы с особым вниманием и симпатией приглядываются к тому, что происходит в России.

Это относится отнюдь не только к прокоммунистической или социал-демократической среде. Для консервативного революционера А. Меллера ван ден Брука Россия — страна, которая продолжает борьбу, проигранную Германией. «Тогда как Ноябрьская революция в Германии „осталась революцией либеральной“, ... русский большевизм для автора „Третьего Рейха“ занимает в истории место аутентичного консервативного контрдвижения, движения консервативно-революционного»⁵². Для Геббельса образца 1925 г. (статья «Русский вопрос») Россия — «единственный союзник против дьявольских искушений и развращенности Запада»⁵³. Для национал-большевика Э. Никиша она — наследница «прусской идеи». «Россия подчинилась прусской мысли... Германия передала свою оригинальность России»⁵⁴. «Россия становится более прусской, чем мы... В той мере, в какой русский большевизм был „марксистским“, речь шла об опруссаченном марксизме»⁵⁵. Возможно, представители разных, в том числе и протонацистских, политических сил и идеологических течений веймарской Германии часто видели в России то, что они хотели видеть, а не то, что в ней действительно было. Но внушавшее им симпатии отрицание «западного» экономического и политического либерализма, все признаки доминирования государства над обществом в Советской России, а затем и в СССР, конечно, не были ими придуманы.

⁵⁰ Там же, с. 12–13.

⁵¹ Там же, с. 11.

⁵² *Fayé J. P. Langages totalitaires.* Paris, 1972, p. 118.

⁵³ Цит. по: *Лакер У.* Россия и Германия — наставники Гитлера. Вашингтон, 1991, с. 47, 197.

⁵⁴ *Niekisch E.* «Hitler — une fatalité allemande» et autres écrits nationaux-bolcheviques. Puiseaux, 1991, p. 188–189.

⁵⁵ *Ibid.*, p. 188.

Именно эти черты становящегося в России нового порядка отвечали кругу представлений, давно развивавшихся и в Германии, и в России в ответ на идейный вызов века Просвещения и Французской революции и нашедших благодатную почву в недавно раскрестянившейся, прошедшей через стремительные перемены и к тому же потерпевшей военное поражение от «западных демократий» Германии. Настоящее по всем статьям проигрывало прошлому — таков был общий фон настроений веймарской поры. На этом ностальгическом, а часто и реваншистском фоне окрепло агрессивнo-отрицательное отношение к индивидуализму, либерализму, западной парламентской демократии и т. п., столь созвучное все более прояснявшейся практике Советской России, а затем СССР. Многие тогдашние немецкие проекты будущего окрашены этими настроениями.

Если не «буржуазная демократия», без конца порицаемая в СССР, если не либерализм, постоянно поносимый в Германии⁵⁶, тогда что же? Ответ единодушный и один тот же в обеих странах: *социализм*. В России — это официально провозглашенная доктрина, в Германии — ось всех обсуждающихся проектов. «Глубокое значение может иметь в Германии только социализм» (Шпенглер)⁵⁷. «Мы смотрим на Россию потому, что эта страна, наиболее вероятно, вместе с нами встанет на путь, ведущий к социализму» (Геббельс)⁵⁸. «Перед нами стоит вопрос о немецком социализме» (Меллер ван ден Брук)⁵⁹. «Немецкий социализм... это — народный социализм... Он охватывает весь народ, все стороны его жизни» (Зомбарт)⁶⁰ и т. д.

В европейском сознании начала XX века идеи социализма были очень тесно связаны с марксизмом, хотя, конечно, они имели более долгую и сложную историю и уходили своими корнями в доиндустриальную или раннюю индустриальную эру. Об этом говорится и в «Коммунистическом манифесте», где «правильный» пролетарский социализм противопоставляется всем остальным, «неправильным». После Первой мировой войны в Германии многие политические и идейные течения резко отвернулись от марксизма, но отнюдь не от социализма, лозунги которого они широко использовали, всячески подчеркивая немарксистские линии его родословной. «Нужно освободить немецкий социализм от Маркса», писал Шпенглер. «Маркс был только отчимом социализма. В социализме есть более старые, более интенсивные, более глубокие черты, чем приписал ему своей критикой общества Маркс»⁶¹. «Фридрих-Вильгельм I-й, а не Маркс был... первым сознательным социалистом»⁶². Критикой марксизма и защитой социализма заполнены многие страницы тогдашней немецкой литературы, что само по себе требует объяснения. Чем не угодил Шпенглеру, Меллеру ван ден Бруку или даже бывшему активному марксисту Зомбарту Маркс и что так привлекало их в социализме?

⁵⁶ «В Германии есть ненавистные и обесславленные принципы, но презрение в Германии вызывает только либерализм» (Шпенглер О. Прусская идея и социализм. Берлин, б.д., с. 58).

⁵⁷ Шпенглер О. Прусская идея и социализм, с. 58.

⁵⁸ Цит. по: Лакер У. Россия и Германия наставники Гитлера, с. 197.

⁵⁹ Moeller van den Bruck A. Chaque peuple a son propre socialisme. // Moeller van den Bruck A. La révolution des peuples jeunes. Puiseux, 1993, p. 209.

⁶⁰ Sombart W. Le socialisme allemand. Puiseux, 1990, p. 180.

⁶¹ Шпенглер О. Цит. соч., с. 8–9.

⁶² Там же, с. 70.

Классический марксизм — часть специфически немецкого противоречивого социокультурного контекста середины XIX века. В этом контексте легко понять антифеодальную направленность марксизма, четко выраженную преемственность по отношению к идеям Просвещения и Французской революции. Самые яркие страницы «Коммунистического манифеста» составляют гимн новому — буржуазному, рыночному порядку вещей, прочно утвердившемуся к западу от Рейна. Но с панегириком капитализму соседствует и его критика, нередко обостренная, чрезмерная, справедливая применительно не к капитализму вообще, а лишь к его ранним стадиям. Такая критика неизбежно преувеличивала отрицательные стороны капитализма и потому отказывала ему в будущем. Когда же речь заходит о будущем, на первый план в марксизме выдвигается его хилиастическая составляющая, и марксистский «проект» пронизывает дух средневековых утопий. Резкая критика капитализма в сочетании с холистско-казарменными средневековыми «социалистическими» идеалами, идущими от Кампанеллы, Томаса Мора или Кабе, образует идеологическую гремучую смесь, которую охотно восприняли и поборники «немецкого социализма», освобождавшие его от Маркса.

В социализме для них воплощалось все то, что могло быть противопоставлено «восстанию масс» и защитить от гибели аристократический дух и феодальные порядки старой Европы. Они постоянно подчеркивали, что речь идет о «немецком социализме», о воплощении «прусской идеи» и пр., но в главных чертах предлагавшегося ими порядка трудно найти что-либо исключительно национальное. Речь идет лишь об одном из двух комплексов идей, столкнувшихся в Европе XIX, а затем и XX веков, о духе средневековья в его противостоянии духу Нового времени. Немецкая версия «духа средневековья» отличается от русской, итальянской или любой другой только в деталях, тогда как все его национальные версии объединены главным: они борются против «атомизма новой истории», против индивидуализма «частных лиц», децентрализованных экономических решений, контроля общества над государством, парламентской демократии, свобод и прав личности.

«Немецкий социализм не атомизирует, он организует»⁶³. Это «авторитарный социализм, по своему существу чуждый либерализму, поскольку речь идет об английском либерализме и французской демократии»⁶⁴. Это торжество «прусской социалистической этики»: она «предназначена для немногих, которые прививают ее и таким путем принудительно подчиняют ей толпу», это — «борьба за счастье не отдельных лиц, а целого»⁶⁵. Это идея корпоративного государства, которая «восходит к барону Штайну, так же, как мюнхенские советы 1918 г. восходят к корпорациям Средних веков». Это идея корпоративной «общинной экономики»⁶⁶. Это «демократический-авторитарный режим»: его «образцовая модель... — католическая церковь с ее коллегиумом кардиналов на вершине. Прусская армия тоже может служить образцом»⁶⁷. Это идея авторитарного руководителя, которому «вверяют жизнь... те, кто

⁶³ Moeller van den Bruck A. Chaque peuple a son propre socialisme, p. 209.

⁶⁴ Шпенглер О. Цит. соч., с. 27.

⁶⁵ Там же, с. 70.

⁶⁶ Moeller van den Bruck A. Chaque peuple a son propre socialisme, p. 209.

⁶⁷ Sombart W. Op. cit., p. 236.

следуют за ним»⁶⁸. К «немецкому социализму» полностью применимы слова Муссолини об итальянском фашизме: «Мы представляем ясную, категорическую антитезу... всему миру бессмертных принципов 1789 года»⁶⁹.

Язык советской идеологии тех лет был совершенно иным. На словах сохранялся опереженный пиетет по отношению к идеям европейского XIX века, который, по словам Ленина, «дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции. Он во всех концах мира только то и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал то, что создали великие французские революционеры буржуазии»⁷⁰. На деле же советский социализм, превратившись в инструмент традиционалистской индустриализации, «не столь уж отличной от abortивной крепостнической «индустриализации» петровских времен»⁷¹, знаменовал собой консервирование и защиту обреченных историей на гибель принципов и институтов доиндустриальных, сельских, феодальных обществ и в этом смысле тоже был абсолютно «ясной, категорической антитезой» всем контрсредневековым достижениям XIX века. Надо ли приводить примеры этой «антитезы»?

В экономике — это отказ от частной собственности и конкуренции; это резкое сокращение сферы торговли и денежного обращения; это отказ от фермерского «американского» пути в сельском хозяйстве в пользу «прусского» батрацко-колхозного; это распространение на всю экономику принципов планирования «в натуре», уместных разве что в крестьянском хозяйстве допромышленной эпохи.

В политике — это отказ от парламентской демократии и утверждение авторитарного политического режима, мало отличавшегося от царского самодержавия⁷²; это неприятие принципа разделения властей и однопартийная система, воспроизводившая цезарепапистские принципы средневековых монархий, в которых политический контроль переплетался с религиозно-идеологическим, а единомыслие считалось обязательным; это духовная инквизиция, постоянная «охота на ведьм», политические преследования и чрезвычайно суровые репрессии, в некоторые периоды — с применением абсолютно средневековых пыток и истязаний.

В области прав человека — это фактический отказ от провозглашаемых на словах гражданских свобод; это полная зависимость человека от государственного патернализма; это преимущество «целесообразности» или «морали» перед законом; это вмешательство государственных или общественных организаций в личную жизнь граждан; это статусный характер элиты и вытекающее из него неравенство; это придание офи-

⁶⁸ Moeller van den Bruck A. Chaque peuple a son propre socialisme, p. 209.

⁶⁹ Mussolini. Op. cit, p. 74.

⁷⁰ Ленин В. И. Речь об обмане народа лозунгами свободы и равенства. // Полн. собр. сочинений, т. 38, с. 367.

⁷¹ Левада Ю. Сталинские альтернативы. // Осмыслить культ Сталина. М., 1989, с. 455–456.

⁷² Сталин находился у власти (считая с 1924 г.) 29 лет — столько же, сколько Николай I (с конца 1825 по 1855 г.), и больше, чем любой другой русский царь в XIX в.; бездарный Брежнев царствовал около 18 лет (1964–1982) — больше, чем Александр III (1881–1894). Трон Генерального секретаря был не менее прочен, чем царский, в большинстве случаев он был пожизненным.

циального значения этническим различиям; это ограничение прав передвижения с помощью паспортной системы, прописки, выездных виз.

Можно взять любую сторону жизни советского общества — в ней сразу же без труда обнаруживаются типичные средневековые черты, часто свидетельствующие об отказе даже от тех довольно скромных достижений, которые принес России XIX век. И это произошло не по чьему-то умыслу, а по причинам вполне объективным, «не под влиянием социалистических утопий, — как замечает Восленский, — а из чисто практических соображений»⁷³. Политические расчеты большевиков, по необходимости, «опирались на ясно для них видимые феодальные структуры русского общества»⁷⁴. А поэтому и совершенная ими Октябрьская революция «оказалась... объективно не продолжением антифеодальной революции», а ее противоположностью. Она «открыла... эру старательного уничтожения всех капиталистических, то есть антифеодальных элементов»⁷⁵, «после нее было сведено на нет все достигнутое в борьбе против застарелых феодальных структур в России»⁷⁶.

Общий строй социалистического средневековья predetermined и тип его элиты. Все советские модернизации, в силу их консервативности и инструментальности, были обречены на незавершенность, ибо не сопровождалась созданием встроенных в социальные процессы механизмов саморазвития. Это относится и к политической модернизации, которая привела к власти новую, демократическую по своему происхождению, элиту, но не создала демократических механизмов ее обновления. Напротив, новая правящая элита, «номенклатура», будучи естественным порождением централизованного государственного социализма, мгновенно переродилась и, как ничто другое, отражала средневековые черты системы. Главная особенность советской элиты заключалась в ее статусности, она напоминала феодальную аристократию, была «своеобразной системой ленов, предоставляемых соответствующим партийным комитетом — сюзереном его вассалам — членам номенклатуры этого комитета»⁷⁷. Статусы не наследовались⁷⁸, а предоставлялись «инстанциями», но в остальном разницы практически не было. Представители правящей страной партийно-государственной номенклатуры олицетворяли не свой капитал, не свои знания или способности, а свою должность. Им принадлежала монополия на власть, их отношение даже к другим элитарным слоям было примерно таким же, как у аристократии «ancien régime» к представителям третьего сословия. «Заведующий сектором ЦК спокойно относится к тому, что академик или видный писатель имеет больше денег и имущества, чем он сам, но никогда не позволит, чтобы тот ослушался его приказа», — замечает Восленский⁷⁹.

⁷³ Восленский М. Цит. соч., с. 591.

⁷⁴ Там же.

⁷⁵ Там же, с. 585.

⁷⁶ Там же, с. 591.

⁷⁷ Там же, с. 113.

⁷⁸ Впрочем, многочисленные проявления nepotизма — и не только в СССР, но на всем пространстве «социалистического» мира — от Румынии до Северной Кореи — были, видимо, не совсем случайными.

⁷⁹ Восленский М. Цит. соч., с. 114.

Номенклатура образовывала вертикальную иерархию, ее положение гораздо больше зависело от вышестоящего уровня, чем от реальных процессов, происходивших в ее отраслевом или территориальном «клене». Она была куда менее чувствительна к тому, что происходило на более низких уровнях иерархии (это было бы «либерализмом»), нежели к поведению ее верхних уровней («демократический централизм»), где принимались решения и утверждались назначения. Стабильность для нее была намного важнее, чем развитие, во всяком случае, спонтанное, от нее не зависящее. Если она и признавала нововведения, то только по команде сверху: они шли сверху вниз через представителей номенклатуры и позволяли им каждый раз выступать в роли маленьких Данко областного, районного или заводского масштаба. Этим оправдывались привилегии номенклатуры: как отказать в них людям, которые освещают вам дорогу своим собственным сердцем? Но развитие само по себе — точь в точь как в Средние века — не представляло для нее никакого интереса. Номенклатура и порождающий ее политический режим очень скоро превратились в главный источник застоя.

6.4. Тотальное государство

И все же новое, социалистическое средневековье не было точной копией старого. Его, может быть, самая главная особенность опиралась на сохраненные или восстановленные средневековые, феодальные структуры, на соборного человека и принципы его социальной жизнедеятельности, но сама она не была характерна для средневековья. Речь идет о всепроникающем присутствии государства, которое заставляет вспоминать, скорее, о тысячелетних восточных деспотиях, о древнем Вавилоне или древнем Египте, нежели о раздробленной феодальной Европе. Европейское феодальное государство всегда было ограничено в своих действиях распределением политических и экономических полномочий и прав между различными уровнями социальной пирамиды, «вольностями дворянства», общинной собственностью на землю и т. п. Оно определяло общие контуры внутренней и внешней политики, собирало налоги или вело войны, само могло быть крупным собственником, но не занималось организацией хозяйства в масштабах страны и не вмешивалось в частную жизнь подданных.

Новое европейское средневековье и в теории, и на практике характеризуется небывалым ростом амбиций государства. «Если либерализм означает индивида, фашизм означает государство» — разъяснял Муссолини⁸⁰. «Для фашиста — все в государстве, и ничто ни человеческое, ни духовное не существует и а fortiori не имеет ценности вне государства. В этом смысле фашизм тоталитарен, а фашистское государство, соединение и средоточие всех ценностей, истолковывает, развивает и предопределяет всю жизнь народа»⁸¹.

Примерно такой же смысл имеет и немецкий вариант «тотального государства» Карла Шмита. Шмит особенно подчеркивал рост новых технических возможностей, новых инструментов государственной власти в XX веке — военной техники, техники «вли-

⁸⁰ *Mussolini*. Op. cit, p. 56.

⁸¹ *Ibid.*, p. 20.

яния на массы» и т. п., — которые она должна сосредоточить в своих руках. Тотальное государство, говорил Шмит в 1932 г., это прежде всего сильное государство, подобно «фашистскому государству, которое называет себя „*stato totalitario*“, указывая тем самым прежде всего на то, что новые инструменты власти принадлежат исключительно государству и увеличивают его власть»⁸². «Такое государство ни в коем случае не допускает развития внутри себя враждебных или препятствующих ему сил или сил, несущих распад государственности. Оно не помышляет ни о том, чтобы уступить своим врагам и разрушителям новые инструменты власти, ни о том, чтобы дать похоронить свою собственную власть под дежурными словами вроде либерализма, правового государства или какими угодно другими»⁸³.

В Германии идея государства соединяется с идеей «немецкого социализма». «Понятия государства и социализма, надо помнить об этом, едины»⁸⁴. Образец государства — Пруссия, ибо она «была настоящим государством в самом глубоком смысле этого слова. Тут, строго говоря, вообще не существовало частных лиц. Каждый, живший в этом организме, функционировавшем с точностью хорошей машины, принадлежал к нему как его член»⁸⁵. Однако нужные образцы можно найти не в одной лишь Пруссии и не только в прошлом. Не исключено, полагали некоторые немецкие авторы, что и опыт России «подтолкнет европейские государства на путь тотального государства»⁸⁶. Для таких надежд были основания, ибо, пока немцы теоретизировали, в СССР шло стремительное огосударствление самых разных сторон жизни.

Система всепроникающего государственного контроля стала складываться в России очень скоро после прихода большевиков к власти и установления однопартийной системы. Она сразу же насторожила даже многих сторонников режима, его союзников, а тем более его врагов внутри страны или в эмиграции. Но она получила и немалую поддержку — прежде всего, в собственном «народе», в массовом сознании, а также, как мы видели, у фашиствующих немцев или итальянцев и даже во враждебной большевикам эмигрантской среде. Евразийский политический проект, противостоявший большевистскому, был симметричен, в главном тождествен ему, он был нацелен не на устранение тоталитаризма и замену его демократией, а на замену одного типа тоталитаризма другим, на возврат к «старой теократии», к идеократическому цезарепапизму, основанному на «православной идеологии». «Необходимо, — утверждали евразийцы, — создать новую партию, которая бы являлась носительницей этой новой идеологии и смогла занять место коммунистической... Мысля новую партию, как преемницу большевиков, мы уже придаем понятию партия совсем новый смысл, резко отличающий ее от политических партий в Европе. Она — партия особого рода, правительствующая и своей властью ни с какой другой партией не делящаяся, даже исключаяющая существование других таких же партий. Она — государственно-идеологический союз; но вместе с тем она раскидывает сеть своей организации по всей

⁸² Цит. по: *Fayé J. P. Langages totalitaires*, p. 702.

⁸³ *Ibid.*, p. 705.

⁸⁴ *Sombart W.* *Op. cit.*, p. 196.

⁸⁵ *Шпенглер О.* *Цит. соч.*, с. 99.

⁸⁶ *Gunther G.* *Das werdende Reich.* Hamburg, 1932, p. 198 (Цит. по: *Fayé J. P. Langages totalitaires*, p. 297).

стране и нисходит до низов, не совпадая с государственным аппаратом, и определяется не функцией управления, а идеологией»⁸⁷.

Мы видели, что в начале 20-х годов, когда возможности «тотального государства» еще не были ясны, будущее России, как и других европейских стран, нередко связывалось с возрождением средневекового корпоративного строя. Корпоративная идея и впрямь неплохо послужила в СССР, где были «коллективизированы» и таким образом поставлены под контроль не только крестьяне — тогда основной класс страны; коллективизированы были и городские ремесленники, и даже лица свободных профессий — писатели, художники, композиторы и т. п.

Тем не менее не этот путь оказался главным в СССР. По мере индустриализации, которая была тождественна расширению государственного сектора экономики, все многочисленнее становились государственные рабочие и служащие, которые постепенно стали большинством, так что прежние корпорации, рассчитанные все же на объединение частных лиц, хотя и сохранились, но утратили свое первоначальное значение главного посредника между государством и индивидом, и на первое место вышел прямой государственный контроль.

Экономическое огосударствление необыкновенно усилило «тотальность» советского государства, которое превратилось и в основного работодателя, и во всеобщего кормильца, и в распределителя всяческих благ, и в гаранта социального благополучия всех и каждого, и в хранителя моральных ценностей, и в опекуна личной жизни, и, конечно, в защитника от внешнего врага и т. д. Разумеется, все эти обязательства скорее провозглашались или, во всяком случае, молчаливо подразумевались официальной идеологией, нежели выполнялись в полной мере. Одни его функции вступали в противоречие с другими: стремление государства к максимальному объему инвестиций невозможно было совместить с его претензиями быть всеобщим благодетелем; государственная монополия на принятие всех сколько-нибудь существенных решений душила всякую инициативу граждан, а без этого не могло быть ни эффективной экономики, ни развитой социальной жизни, на организацию которых как раз и претендовало государство; огосударственные профсоюзы не могли находиться в оппозиции к государственному работодателю и даже и не пытались противостоять ему, защищая права работников, — этот перечень можно продолжать до бесконечности. Повсеместное экономическое присутствие государства хорошо сочеталось с его политической и идеологической вездесущностью и делало жизнь каждого почти полностью подконтрольной и зависящей от государственной бюрократии. Именно имея в виду всевластие бюрократической иерархии, Троцкий писал, что «режим получил „тоталитарный“ характер за несколько лет до того, как из Германии пришло это слово»⁸⁸.

Тем не менее советский тоталитаризм не был абсолютно дисфункциональным, не отторгался массовым сознанием, более того, до поры до времени воспринимался им

⁸⁷ Евразийство..., с. 394–395. Ср. Сталин: «Руководителем государства, руководителем в системе диктатуры пролетариата является одна партия, партия пролетариата, партия коммунистов, которая не делит и не может делить руководства с другими партиями» (*Сталин И. В. К вопросам ленинизма. // Соч., т. 8, с. 27*).

⁸⁸ *Троцкий Л. Цит. соч., с. 86.*

как нечто положительное и входил в число важных общественных ценностей. Как отмечают авторы исследования феномена «простого советского человека», «государство для Homo soveticus'a — не один из ряда исторически сформировавшихся социальных институтов..., а некий суперинститут, всеобщий, универсальный как по своим функциям, так и по своей сфере деятельности. По сути дела, в облике государства в советском обществе выступает нерасчлененный на функциональные компоненты, универсальный институт досовременного патерналистского образца, который проникает во все уголки человеческого существования»⁸⁹. Может быть, истинная роль государства и не была столь всеохватывающей, многие стороны частной, даже публичной жизни контролировались им все слабее и слабее. И все же «досовременный» синкретический образ «нерасчлененного» государства и в самом деле прочно удерживался в сознании советского человека, а реальная власть государства не оставляла места для экономической или политической инициативы частного лица. В экономике и политике его «Я» могло существовать только как неразличимая частица соборного, симфонического государственного целого.

Многие основополагающие характеристики личности и черты массового сознания были порождены или укреплены государственным патернализмом, отчасти унаследованным от прошлого, но чрезвычайно разросшимся в советское время. Положение каждого даже в его собственных глазах определялось не его неотторжимыми достижениями или правами, а его полученным из государственных рук статусом. «Это не аскриптивная иерархия традиционных обществ (наследуемые привилегии) и не достижительная иерархия общественных систем нового времени (распределение статусов в соответствии с плодами труда, капитала и знания). Фактор, структурирующий советское вертикальное общество..., — мера допущенности к властным привилегиям и сопутствующим им информационным, потребительским и др. дефицитам»⁹⁰. Несмотря на постоянно декларируемое всеобщее равенство, положение в иерархии (теоретически доступное всем) служило оправданием любых привилегий. «Иерархический эгалитаризм» «отвергает лишь то неравенство, которое не соответствует принятой иерархии... За гранью допустимого оказываются в таком случае, во-первых, плоды всякого неординарного труда и таланта, во-вторых, доходы от собственности и экономических услуг, в-третьих, «слишком большие» привилегии у людей «недостаточно» высокого статуса»⁹¹. Таким образом самим обществом перечеркиваются все возможные варианты самостоятельного, независимого экономического «Я» и поощряется зависимое, сервильное «Я» послушного исполнителя воли, исходящей от безликого целого.

Сам факт пусть и временного, но все же довольно длительного существования тоталитарного режима в СССР, равно как и то, что он имел множество искренних сторонников, говорит о его функциональности. В чем заключались объективные функции тоталитаризма в СССР?

⁸⁹ Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х. Отв. редактор Ю. А. Левада. М., 1993, с. 15–16.

⁹⁰ Там же, с. 18.

⁹¹ Там же, с. 19.

Размышляя об условиях возникновения «тотальных государств», Восленский обращается к выводам историка Виттфогеля, который объяснял всепроникающую зависимость от государства в древних восточных деспотиях необходимостью постоянно возводить и поддерживать крупные ирригационные сооружения — от них зависела вся жизнь древних обществ («азиатский способ производства» у Маркса; Виттфогель говорит о «гидравлических обществах») ⁹². Как замечает Восленский, «логика приводимого Виттфогелем материала... подталкивает к выводу: „азиатский способ производства“ возникал не только в обществах с ирригационным сельским хозяйством, это лишь частный случай. Общая же закономерность состоит в том, что тотальное огосударствление применяется для решения задач, требующих мобилизации всех сил общества» ⁹³. Впрочем, возможно, обнаружение этой связи и не требует столь далеких исторических сопоставлений, она кажется очевидной и, видимо, была ясна с самого начала. «После того, как Эрнст Юнгер выработал концепцию „тотальной мобилизации“, Карл Шмит ввел свою концепцию тотального государства», — писал немецкий автор еще в начале 30-х годов ⁹⁴. В СССР связь всевластия государства с мобилизационными пружинами специально не подчеркивалась, но именно здесь «тотальность» государства в наибольшей мере была предопределена общей мобилизационной моделью советской модернизации, и именно мобилизационная функция стала организующим звеном всей политической системы.

В условиях советской реальности мобилизационная модель модернизации с самого начала оказалась намертво спаянной с новой, номенклатурной элитой, по своему происхождению и функциям привязанной к централизму экономической и политической системы. Такая номенклатура была кровно заинтересована в продлении жизни мобилизационной модели даже тогда, когда ее основные, исторически оправданные задачи были выполнены, и искала для этого искусственные основания. Нужду в таких основаниях она почувствовала очень скоро и без труда нашла их в идеологии и психологии осажденной крепости, в том, что Ю. Левада метко назвал «истерическим изоляционизмом». Этот «продукт для чисто внутреннего пользования, для удобства властвования и разделения» ⁹⁵, оправдывал постоянную милитаризацию в мирное время. Приготовления к войне — едва ли не главное основание мобилизационной логики всех тоталитарных режимов. С этой точки зрения не столь уж важно, чем оправдываются такие приготовления: необходимостью обороны от постоянно наседающего врага, как это было в СССР, необходимостью завоевания нового жизненного пространства, как в гитлеровской Германии, или даже просто романтизацией войны и ее возведением в ранг почитаемого атрибута «настоящей жизни», свойственными многим идеологам тоталитаризма.

Восленский справедливо указывает на связь функционирования номенклатуры и милитаризации, он выводит ее непосредственно из стремления номенклатуры обладать материальными инструментами власти — вооружением, военной и полицейской техникой и т. п. ⁹⁶. Но, возможно, связь — более глубинная, внутренняя. Военное производ-

⁹² Wittfogel K. W. Oriental despotism. New-Haven — Lole, 1976.

⁹³ Восленский М. Цит. соч., с. 579.

⁹⁴ Gunther G. Op. cit, p. 197 (Цит. по: Fayé J. P. Langages totalitaires, p. 294).

⁹⁵ Левада Ю. Сталинские альтернативы, с. 457–458.

⁹⁶ Восленский М. Цит. соч., с. 196.

ство служит основой тоталитаризма не потому, что поставляет танки или колючую проволоку, — и то, и другое можно, в крайнем случае, купить. Размышляя о связи между запоздалой промышленной революцией в России и политической революцией, приведшей к установлению диктатуры, А. Гершенкрон еще в 50-е годы замечал, что было бы наивно думать, будто диктатура может удержаться у власти только с помощью сильной армии или вездесущей тайной полиции. Она может сохранить власть «только если ей удастся заставить народ поверить в то, что она осуществляет важную социальную функцию, без нее невыполнимую... Если все силы народа направлены на индустриализацию и если эта индустриализация оправдывается счастьем и изобилием для будущих поколений и — что намного важнее — опасностью военной агрессии извне, диктаторская власть может не опасаться никакого вызова... Экономическая отсталость, быстрая индустриализация, жестокость диктатуры и угроза войны оказались неразделимо переплетенными в Советской России»⁹⁷.

Защищая свои собственные, эгоистические интересы, номенклатура не желала и не могла признать кризиса породивших ее мобилизационной экономики и тотального государства. Она, как могла, оттягивала их крушение, находя их последнее оправдание во все большей милитаризации экономики. Но кризис от этого не только не исчезал, но становился все более острым, разрушал изнутри всю «консервативно-модернизационную» систему.

6.5. Кризис тоталитаризма

На протяжении какого-то времени советский политический режим отвечал объективным интересам или, по крайней мере, субъективным устремлениям очень широких социальных слоев, был функционален. Он обеспечил мобилизацию экономических ресурсов и социальной энергии для проведения инструментальной модернизации, все большее число людей получало доступ к ее плодам. В этом смысле общество быстро демократизировалось, в жизни десятков миллионов людей происходили скорые и весьма глубокие перемены. Они были сложными, многоплановыми, очень противоречивыми, общество платило за них дорогую цену. Но какое-то время их положительные последствия в массовом сознании явно преобладали над отрицательными.

Однако со временем стали все больше давать себя знать глубокие противоречия, изначально заложенные в основание советского строя. Его популярность держалась не только на реальных переменах. Огромную роль играли вселявшиеся ими надежды на новые перемены, на постоянное улучшение жизни. Эти надежды искусно поддерживались средствами пропаганды, но все реже и реже сбывались. Мобилизационные механизмы, позволяющие в критические моменты собрать все силы в единый кулак, не годятся для долговременного использования. Если время их жизни растягивается, они становятся дисфункциональными, неэффективными. Тем более это относится к советским мобилизационным механизмам полуфеодалного типа, больше ориентированным на сохранение, чем на перемены. А ведь изначальной целью системы были как раз ускоренные перемены. Здесь лежал главный корень проблемы: соединенные в одной модели модернизации революционные цели и консервативные средства во-

⁹⁷ Gershenkron A. Economic backwardness in historical perspective. Cambridge, Mass., 1962, p. 28–29.

шли в неразрешимое противоречие между собой, рано или поздно должны были вступить в открытый конфликт. Он был неизбежен именно в силу успехов модернизации, пусть и половинчатых.

К концу XX века СССР во многих отношениях напоминал Россию в его начале — и очень сильно от нее отличался. Феодальный социализм восстановил многие основополагающие черты централистского вертикального российского общества начала века, но теперь им снова противостояли нарастающие силы горизонтальных связей и отношений, на этот раз куда более мощные. Хотя ни одна из революций, из которых складывалась советская модернизация, не была завершена, они все же подготовили, пусть и вчерне, новые материальные и духовные основы современной общественной жизни, несопоставимо более зрелые и всеохватывающие, чем те, которые смог оставить после себя до-революционный российский капитализм. Инструментальная модернизация не исчерпывает всех задач модернизации, но важна и она, и в той мере, в какой она все же состоялась в СССР, многие десятки миллионов людей получили доступ к ее плодам. Все это не могло не сказаться на состоянии переходного советского общества, породило силы его структурирования и демаргинализации, подготовило первые предпосылки для его вхождения в новую социокультурную почву.

Может быть, самым главным звеном такого структурирования стали перемены, происходившие в среде самой номенклатурной элиты, «нового класса». По мнению Джиласа, этот класс был призван выполнить некоторую, в определенном смысле стандартную, историческую задачу (обеспечить промышленную революцию) там, где ее нельзя решить обычными «западными» методами. Но какая судьба ждала его после того, как задача будет выполнена? Что-то обязательно должно было измениться, и, пожалуй, можно было заранее предсказать крушение всей номенклатурной системы.

Хотя классическая номенклатура напоминала феодальную аристократию, на деле она была лишь ее функциональной имитацией, за ней не стояла реальная система отношений, которая придавала прочность феодализму. Даже во времена расцвета номенклатуры ее положение было непростым. В номенклатуру было трудно попасть, но из нее, как из бандитской шайки, нелегко было добровольно выйти. Обладая огромными, часто бесконтрольными правами по отношению к более низким уровням социальной иерархии, она столь же бесконтрольно зависела от ее более высоких уровней и отнюдь не была защищена от тоталитарного террора. Самые высокие иерархи режима жили в постоянном и небезосновательном страхе. Номенклатура никогда не знала нужды: времена партмаксимума оказались мимолетными, и она всегда имела множество материальных привилегий — банальных, но весьма существенных в бедной стране. В то же время режимом культивировался показной аскетизм, соответствовавший общему духу мобилизационного развития, во имя которого все должны были приносить жертвы, так что «законные» привилегии надлежало тщательно скрывать от посторонних глаз. К тому же их всегда можно было потерять, потому что это были привилегии не человека, а места, которое он занимал. Высокие номенклатурные чины и в

центре, и на местах нередко могли долго и бесконтрольно злоупотреблять своим служебным положением, обогащаться, воровать, развратничать, но, при желании, любого эпизода из личной жизни было достаточно, чтобы расправиться с неугодным «номенклатурщиком», свалить конкурента.

Какое-то время со всем этим приходилось мириться, но когда режим почувствовал себя прочным, а страна стала богаче, правящие слои оказались первыми, у кого появилось желание расслабиться, снять мобилизационное напряжение, обезопасить себя. Каждое новое поколение элиты расширяло пространство своей личной неприкосновенности, открыто узаконенных привилегий, дозволенного гедонизма, даже терпимого вольномыслия. Постепенно стал меняться и сам тип элиты, чему способствовали также и объективные перемены, имевшие своим следствием одновременно и усложнение общества, и усложнение человека.

Связка «милитаризм-мобилизация-централизм» образовывала стеной хребет советского тоталитаризма, предопределяла вертикальную направленность всех его главных связей, строгую подчиненность нижних уровней системы верхним. Номенклатура была верным стражем этого породившего ее вертикального мира и готова была платить за его неизбежность отказом от продолжения модернизации, хотя бы и инструментальной, даже от технического прогресса. Она и делала это, когда тормозила развитие целых отраслей знания, научных или художественных направлений, препятствовала международным контактам специалистов и пр. Но совсем остановить развитие она, конечно, не могла — хотя бы из-за той важности, какую имеет технический прогресс для военного производства. Модернизационное развитие было затруднено, стеснено, но все же не прекратилось, а потому не прекратилось и непрерывное усложнение общества, а значит, укрепление его горизонтальных связей и обесценение вертикальных.

С развитием промышленности, городов, образования набрали силу локальные — региональные, отраслевые, комбинированные — центры экономической и социальной жизни, они стали сложными, внутренне расчлененными, способными к значительной хозяйственной и политической самостоятельности, к параллельному существованию и горизонтальному взаимодействию. Снова, как и в XIX веке, но в гораздо больших масштабах, увеличилось число элитарных статусов и сложились теперь уже довольно многочисленные слои с ними связанные. Они вербовались из вчерашних маргиналов и, конечно, несли на себе печать классического *Homo soveticus*. Кроме того, поначалу они выступали в привычной номенклатурной маске. Но их объективная природа была уже иной. Во-первых, новые поколения элиты во все возрастающей степени воплощали интересы системной самоорганизации, идущей «снизу», — в отличие от старой номенклатуры, которая реализовывала замыслы, исходившие «сверху». Во-вторых же, представители новых поколений элиты, в сравнении со своими отцами, чувствовали себя более независимо, ибо обладали собственным неотчуждаемым багажом: профессиональными знаниями, городской культурой, ощущением укорененности в новой социальной почве. В них с наибольшей отчетливостью отражался сдвиг в сторону автономии лично-

сти, который в менее выраженных формах затронул многие десятки миллионов горожан второго и третьего поколений.

Новая, уже не вполне номенклатурная, частично номенклатурная элита стала заполнять советскую политическую сцену начиная примерно с хрущевских времен. Тогда она была немногочисленной, но уже принесла с собой новые ощущения, взгляды, ценности, которые и предопределили порыв «шестидесятников». Понадобились десятилетия, чтобы она умножилась, вошла в силу, освободилась от многих иллюзий и смогла начать переустраивать мир по своему разумению. И, конечно, наивно было бы ожидать, что это разумение оправдает все надежды романтиков шестидесятничества, идет ли речь, скажем, об Евтушенко, Сахарове или Горбачеве. Тем не менее некоторые — и весьма немаловажные — надежды оно все-таки оправдало. В частности, новая элита достаточно решительно отвергла централизованную экономику, мобилизационную идеологию, политический тоталитаризм — все это более не соответствовало ее интересам. Но то, что она могла взять от этого породившего ее и теперь уходящего в прошлое мира, она взяла и внутреннего родства с ним пока не утратила.

Некогда Троцкий, бывший одним из создателей режима, а затем вынужденно ставший его критиком, со знанием дела указывал на связь между социальной функцией советской номенклатуры и ее корыстным интересом. Основой бюрократического командования, писал он, служит «бедность общества предметами потребления с вытекающей отсюда борьбой всех против всех»⁹⁸. Демократия оказалась «стеснительной, даже невыносимой, когда в порядке дня стояло обслуживание привилегированных групп, наиболее нужных для обороны, для промышленности, для техники и науки. На этой совсем не „социалистической“ операции — отнять у десяти и дать одному — обособилась и выросла могущественная каста специалистов по распределению»⁹⁹. «Таков исходный пункт власти советской бюрократии. Она „знает“, кому давать, а кто должен подождать»¹⁰⁰. «Свое могущество, привилегии, идеологию, привычки, — утверждал Джилас, — новый класс черпает из некоей особой, специальной формы собственности. Это — коллективная собственность, то есть та, которой он управляет и которую распределяет „от имени“ нации, „от имени“ общества»¹⁰¹. О том же писал и Восленский: «социалистическая собственность — коллективная собственность номенклатуры»¹⁰². Насколько это было верно, стало ясно лишь тогда, когда назрел момент превращения этой коллективной собственности в частную, и номенклатурщики всех рангов с полной убежденностью в своих правах приступили к спешному дележу богатств огромной страны, а заодно и самой страны. Этот передел оказался очень простым, он был облегчен, подготовлен всей советской историей, которая приучила общество как ко всевластию номенклатуры, так и к безгласию «масс». Режим, который так любил выдавать себя за воплощение народовластия, именно с точки зрения народовластия оставил после себя абсолютную пустыню: ни идей, ни людей, ни институтов, которые могли бы хоть немного

⁹⁸ Троцкий Л. Цит. соч., с. 95.

⁹⁹ Там же, с. 53.

¹⁰⁰ Там же, с. 95.

¹⁰¹ Джилас М. Цит. соч., с. 205.

¹⁰² Восленский М. Цит. соч., с. 174.

продвинуть общество в направлении социальной демократии, способствовать самоорганизации большинства для защиты своих интересов, для создания нормальных противовесов безграничным аппетитам собственности и власти. Последние же имели очень мощную институциональную основу, которую предстояло лишь видоизменить, причем опираясь в значительной степени на тех же людей и на те же интересы, на которые еще вчера опирался «развитой социализм».

Таблица 6.3. Советская номенклатура в постсоветской российской элите. 1995 г., в %

	<i>Окружение президента</i>	<i>Лидеры партий</i>	<i>Регио- нальная элита</i>	<i>Правите- льство</i>	<i>Бизнес- элита</i>
Всего из советской номенклатуры	75,5	57,1	82,3	74,3	61,0
в том числе:					
партийной	21,2	65,0	17,8	0	13,1
косомольской	0	5,0	1,8	0	37,7
советской	63,6	25,0	78,6	26,9	3,3
хозяйственной	9,1	5,0	0	42,3	37,7
другой	6,1	10,0	0	30,8	8,2

Источник: Крыштановская О. Трансформация старой номенклатуры в новую российскую элиту. Общественные науки и современность, 1995, 1, с. 65.

Как видно из табл. 6.3, новая постсоветская политическая и экономическая элита складывалась в основном из прежней, советской. Это происходило не только в России и ощущалось на всех уровнях, вплоть до самых высших, что не совсем обычно и встречается в истории крушения политических режимов не так уж часто¹⁰³. Оказавшись у власти в новой ситуации, бывшие советские руководители вовсе не пытались реставрировать режим, служа которому они сделали свою карьеру. Напротив, вполне искренне и с немалой деловитостью они стали приспосабливаться к новым

¹⁰³ К началу 1997 г. 7 из 15 постсоветских государств возглавляли люди, побывавшие в свое время в составе высшей партийной иерархии СССР и навеки вошедшие в число «229 кремлевских вождей»: — Алиев, Ельцин, Каримов, Лучинский, Назарбаев, Ниязов, Шеварднадзе. Два бывших «вождя» — Строев и Малафеев — были в это время председателями палат парламентам соответственно России и Белоруссии, а Примаков — российским министром иностранных дел. Еще один представитель последней кремлевской когорты — Муталибов — несколько ранее занимал пост президента Азербайджана. Литовским президентом был Бразаускас — некогда первый секретарь ЦК Компартии Литвы. Роль первых постсоветских президентов уже отыграли к этому времени Кравчук и Снегур — бывшие секретари центральных комитетов компартий Украины и Молдавии. Стоит перейти на чуть более низкие уровни власти, и список «новых прежних» станет бесконечным.

экономическим, политическим и идеологическим условиям, ничуть не смущаясь их «капиталистическими», «националистическими», «фундаменталистскими» и тому подобными проявлениями.

Если оставаться в плену ортодоксальной советской мифологии, то надо признать: то, что произошло с момента распада СССР, было поистине ужасно. Общенародное достояние, создававшееся жертвенным трудом нескольких поколений советских людей, строителей коммунизма, было «приватизировано», присвоено разбогатевшими «новыми русскими», «новыми украинцами» и т. д., причем очень часто — вчерашними бескомпромиссными борцами против частной собственности, а на развалинах советского общества воцарились неведомые ему социальное неравенство, капиталистическая эксплуатация и т. д.

Отказ от советской мифологии приводит к несколько иному взгляду на вещи. Ни жертвенный труд поколений, ни «приватизацию» (словечко Горбачева) оспорить, конечно, невозможно. Но значит ли это, что что-то отобрали **у народа**? Государственная собственность только называлась общенародной, но никогда таковой не была. «Ужасное» произошло намного раньше, когда тоталитарный государственный Левиафан присвоил себе все экономические и политические права в стране и привел ее к полному разорению. Могли ли энтузиасты тридцатых-сороковых годов предполагать, что их самоотверженный труд во имя ожидавшегося в скорости социализма будет иметь своим истинным следствием лишь то, что накачавший промышленные мускулы СССР превратится попросту в одного из крупнейших в мире торговцев оружием? Что он все больше будет зависеть от экспорта сырья и импорта продовольствия и машин, в том числе и для поддержания минимального технического уровня с такими жертвами создававшейся промышленности? Что к началу 80-х годов, после нескольких десятилетий мирной жизни, даже в крупнейших городах опустеют полки магазинов и начнет распространяться типичное для военного времени рационирование продовольствия? Что придется скрывать от самих себя и от всего мира показатели благосостояния или продолжительности жизни населения?

Новоявленные постсоветские «воротилы» отобрали собственность не у народа, а у государства. Не будем говорить о нравственной стороне этой экспроприации: и без того ясно, что речь идет не о веберовском аскетическом *служении* ранних протестантских предпринимателей. Но стоит отойти от свойственной соборному человеку склонности заменять анализ морализированием, хотя бы на время отвлечься от нравственного смысла происходящего передела — и приходится признать, что при всех невероятных издержках он все-таки подталкивает общество в направлении, подсказанном историей, к превращению его из вертикального в горизонтальное, из одноцентрового в многоцентровое, из строящегося сверху в строящееся снизу, а значит и к коренной модернизацию системы власти, к отказу от ее централистской модели, свойственной всем вариантам промежуточного, мобилизационного Третьего пути. Такие перемены — отнюдь не вопрос политических или идеологических симпатий и убеждений. Полицентрическая система управления более соответствует уровню сложности, разнообразия промышленно-городских обществ, в число которых уже прочно вошла Россия, несмотря на отме-

ченную выше незавершенность главных модернизационных процессов. Она более эффективна.

При переходе к новой модели социального управления власть и собственность рассредоточиваются, исчезает единый центр принятия всех решений, он заменяется бесконечным множеством таких центров. Соответственно изменяется и характер правящего класса. На смену относительно немногочисленной и строго иерархизированной партийно-советской аристократии приходит новая «буржуазная» элита, более многочисленная, независимая и открытая. В этом, собственно, и заключается смысл демократизации. Романтизация демократии в период борьбы за ее утверждение приписывает ей несуществующие добродетели, внутреннюю связь с нравственными ценностями, способность дать ответы на «вечные вопросы» и т. д. Это порождает в обществе несбыточные надежды, а в конечном счете, разочарование сторонников и злорадство противников демократии. Однако если сравнивать результаты экономической и политической демократизации в указанном выше смысле перехода от одноцентрового к многоцентровому социальному миру не с воображаемым будущим, а с реальным прошлым, то общество оказывается в несомненном выигрыше. В конечном счете, оно становится более эффективным, более динамичным и более богатым, повышается качество функционирования всех его подсистем, улучшается социальное самочувствие людей, ощущающих себя более свободными. Вечные же вопросы остаются, конечно, нерешенными — иначе они не были бы вечными.

Но даже и такой относительный выигрыш не может быть получен в одночасье. Начатая Горбачевым перестройка объективно не могла быть ничем иным, как одновременным преобразованием структуры власти и собственности (из моноцентрической в полицентрическую) и их переделом (преходом в руки новых элит). Нелепо было ожидать, что эта перестройка осуществится в соответствии с этическими идеалами «шестидесятников» — для этого в советском обществе не было никаких предпосылок. Одна контролировавшая страну мафия распалась на множество более мелких, как правило, вылупившихся из прежней большой, генетически и идейно связанных с ней, — ничего иного и не могло произойти. Но коль скоро это совершилось, уровень монополизма резко понизился, и возник полицентрический мир, живущий по иным законам, с которыми рано или поздно придется считаться всем его юридическим и физическим обитателям.

Децентрализация власти и собственности с одновременным их переделом — сегодняшней этап модернизации российского общества. Эти два процесса переплетаются между собой, переплетается и оппонирование им со стороны всех недовольных. Недовольство велико, потому что такие перемены вообще болезненны. В постсоветском же обществе они болезненны вдвойне, ибо советское общество, из которого оно вышло, делало все возможное, чтобы внутри него не сложились оппозиционные, реформаторские силы, идеологии, программы, политические фигуры, могущие быть востребованными в постсоветской ситуации. Не удивительно, что общество движется наощупь, методом проб и ошибок, с очень большими потерями, а это, естественно, подогревает массовое недовольство и усиливает критику происходящего.

Если очистить эту критику от романтической, демагогической и т. п. нагрузки, то есть только два ее основных варианта. Один признает необратимость отказа от прежней системы монопольной власти и собственности и делает ставку на создание правовых и вообще институциональных рамок для неидеализируемого полицентрического мира, основанного на борьбе всех против всех, с тем, чтобы придать этой борьбе относительно безопасные, неразрушительные, цивилизованные, правовые формы. Это и есть путь демократии.

Второй вариант критики исходит из неверия в силы самоорганизации российского общества, которое, по мнению сторонников такой критики, может управляться только «сверху» — мудрым вождем или монархом, стало быть, из идеи реванша моноцентрической системы власти и собственности под прежними или сменившимися лозунгами. Такая критика неизбежно связана с идеализацией патриархальных и государственно-патерналистских исторических образцов, в них видят наилучшую опору для достижения экономической и военной мощи, государственного величия и т. п. Это — уже пройденный однажды и показавший свою неэффективность, блокирующий модернизацию путь тоталитаризма. Но именно на нем энергично настаивают сторонники прежних или новых сценариев третьего пути.